

# Так что же такое культурные исследования?<sup>1</sup>

РИЧАРД ДЖОНСОН



КУЛЬТУРНЫЕ исследования сегодня представляют собой движение или взаимосвязанное сообщество. Они имеют собственные специальности в нескольких колледжах и университетах и собственные журналы и собрания. Они обладают огромным влиянием на академические дисциплины, особенно на английские исследования, социологию, исследования средств массовой информации и коммуникации, лингвистику и историю. В первой части этой статьи мне бы хотелось рассмотреть некоторые «за» и «против» академической кодификации культурных исследований. Ставя вопрос ребром: должны ли культурные исследования стремиться быть академической дисциплиной? Во второй части мною будут рассмотрены некоторые стратегии определения, помимо кодификации, потому что, как мне кажется, многое зависит от того, *какого* единства или последовательности мы стремимся достичь. Наконец, я выскажу некоторые, на мой взгляд, полезные соображения по этим вопросам.

## ВАЖНОСТЬ КРИТИКИ

Кодификация методов и знаний (введение их, например, в формальные учебные планы или курсы по «методологии») противоречит некоторым важным чертам культурных исследований как традиции: их открытости и теоретической многосторонности, их рефлексивности и даже склонности к самокопанию и особенно важности критики. Я говорю о критике в собственном

1. Перевод выполнен по изданию: © *Richard J. What Is Cultural Studies Anyway? // Social Text. Winter 1986–1987. No. 16. P. 38–80.*

смысле слова: не просто о критических замечаниях или даже полемике, а о процедурах, благодаря которым другие традиции рассматриваются с точки зрения того, чего они могут достичь и достижению чего они препятствуют. Критика предполагает выделение более полезных элементов и отбрасывание остальных. С этой точки зрения культурные исследования представляют собой процесс, своеобразную алхимию по производству полезного знания; если ты кодифицируешь его, ты сможешь остановить его реакции.

В истории культурных исследований первый опыт был связан с литературной критикой. Реймонд Уильямс и Ричард Хоггарт по-разному развивали ливисовский акцент на литературно-социальной оценке, перенося при этом оценки с литературы на повседневную жизнь<sup>2</sup>. Источником подобных заимствований служила история. Первым важным моментом здесь было развитие послевоенных традиций социальной истории с их сосредоточенностью на популярной культуре или культуре «народа», особенно в ее политических проявлениях. Ключевую роль здесь играла «Группа историков Коммунистической партии» со своим проектом 1940–1950-х гг. по англизированию и историзации старого марксизма. Это влияние было в каком-то смысле парадоксальным, поскольку историков интересовала не столько современная культура или даже XX в., сколько понимание продолжительного британского перехода от феодализма к капитализму, народной борьбы и связанных с ней традиций инакомыслия. И эта работа стала второй матрицей культурных исследований.

Центральное место в литературном и историческом направлениях занимала критика старого марксизма. Главным импульсом первых новых левых было спасение «ценностей» от сталинизма, но немаловажную роль во всем последующем «кризисе марксизма» играла также критика экономизма. Конечно, культурные исследования сформировались по эту сторону того, что можно назвать, как бы парадоксально это ни звучало, современным марксистским возрождением, и занимались кросс-национальными заимствованиями, которые стали отличительной чертой 1970-х. Важно отметить, что одни и те же фигуры занимали разное место в разных национальных путях развития. Распространение популярности альтюссеррианства невозможно понять вне фона преобладающего эмпиризма британской интеллектуальной традиции. Эта черта помогает объяснить обращение к философии не как к специализации, а как к общему

2. Ключевыми текстами служат: *Hoggart R. The Uses of Literacy*. Harmondsworth: Penguin, 1958; *Williams R. Culture and Society*. Harmondsworth: Penguin, 1958; *Idem. The Long Revolution*. Harmondsworth: Penguin, 1961.

проявлению рационализма и интереса к абстрактным идеям<sup>3</sup>. Также важно отметить, что Грамши, определенное прочтение которого в Италии стало ортодоксальным, был освоен нами как критическая, неортодоксальная фигура. В 1970-х он придал новые силы уже частично оформившемуся проекту культурных исследований<sup>4</sup>.

Некоторые исследователи культуры продолжают называть себя «марксистами» (несмотря на кризис и так далее). Но куда более интересно отметить, в чем именно культурные исследования испытали влияние Маркса. У каждого будет свой собственный список. Мой же, не претендующий на общезначимость, включает три основных посыла. Во-первых, культурные процессы тесно связаны с социальными отношениями, особенно с классовыми, а также с классовыми формациями, с половым разделением, с расовым структурированием социальных отношений и возрастными аспектами зависимости от других. Во-вторых, культура связана с властью и способствует созданию асимметрии в способности индивидов и социальных групп определять и удовлетворять свои потребности. И третий момент, вытекающий из первых двух, состоит в том, что культура не является ни автономной, ни внешне детерминированной областью, а представляет собой участок социальных различий и борьбы. Но этим перечень элементов марксизма, остающихся действенными, живыми и полезными в существующих обстоятельствах, не исчерпывается, при условии, что они критикуются и развиваются в детальных исследованиях.

Другое направление критики было отчетливо философским. Культурные исследования в британском контексте отличались интересом к «теории», но до недавнего времени связь с философией не была очевидной. Тем не менее между эпистемологическими проблемами и позициями (например, эмпиризмом, реализмом и идеализмом) и ключевыми вопросами «культурной теории» (например, экономизмом, материализмом или проблемой определенных эффектов культуры) имеется близкое родство. И для меня это вновь во многом было связано с Марксом, хотя область заимствований неизбежно была более широкой. В последнее время были предприняты попытки преодоления довольно бесплодной оппозиции между рационализмом и эм-

3. Все еще полезное краткое изложение реакции Центра современных культурных исследований (ЦСКИ — см. сноску 12) на Альтюссера см.: *McLennan G., Molina V., Peters R. Althusser's Theory of Ideology // On Ideology / Centre for Contemporary Cultural Studies (Ed.)*. London: Hutchinson, 1978.

4. См., напр.: *Hall S., Lumley B., McLennan G. Politics and Ideology: Gramsci // On Ideology*. Но теоретические идеи Грамши широко использовались в эмпирической работе центра с середины 1970-х.

пиризмом в поисках более продуктивной формулы отношений между теорией (или «абстракцией», как я теперь предпочитаю говорить) и «конкретными исследованиями»<sup>5</sup>.

Более важной в нашей недавней истории была критика, исходившая со стороны женского движения и борьбы с расизмом<sup>6</sup>. Она углубила и расширила демократические и социалистические пристрастия, которые служили руководящими принципами ранних новых левых. Хотя личное было политическим уже на первом этапе «Кампании за ядерное разоружение», оно все еще странным образом не имело гендерной окраски. Поэтому демократические принципы ранних движений лишь отчасти заложили основы новой формы политики. Также имелись (и до сих пор имеются) серьезные проблемы с этно- и англоцентричностью ключевых текстов и тем в нашей традиции<sup>7</sup>. Распространенность в современной Британии консервативно-националистической и расистской политики показывает, что здесь все еще существуют серьезные изъяны. Поэтому неверно считать феминизм или антирасизм своеобразным разрывом или отходом от изначальной классовой политики и связанной с ней исследовательской программы. Напротив, именно благодаря этим движениям новые левые оставались новыми.

Не менее важными для культурных исследований были и другие, более определенные результаты<sup>8</sup>. Дело не ограничивалось исходным вопросом: «Как насчет женщин?» Феминизм повлиял на повседневную работу и способствовал более широкому признанию того, что получение продуктивных результатов зависит от сочувственного отношения. Он раскрыл некоторые непризнанные послышки интеллектуальной работы «левых» и мужских интересов, которые сдерживали ее. Он

5. См.: *McLennan G. Methodologies; Johnson R. Reading for the Best Marx: History-Writing and Historical Abstraction // Making Histories: Studies in History-Writing and Politics/CCCS (Ed.). London: Hutchinson, 1982.*

6. Здесь трудно представить библиографию, но изложение ключевых идей см.: *Women Take Issue: Aspects of Women's subordination/CCCS Women's Studies Group (Ed.). London: Hutchinson, 1978; The Empire Strikes Back: Race and Racism in 70s Britain/CCCS (Ed.). London: Hutchinson, 1982.* См. также серию репринтов ССКИ, посвященную женщинам и расе.

7. Это не новая критика, но значимость расы в 1970-х вдохнула в нее новые силы. См.: *Gilroy P. Police and Thieves // The Empire Strikes Back. Esp. p. 147-151.*

8. Некоторые из них — на раннем этапе — обсуждались в «Проблеме женщин» (*Women Take Issue*), но необходимо по-настоящему полное и сводное объяснение трансформаций в культурных исследованиях, вытекающее из феминистской работы и критики. См. также: *McRobbie A. Settling Accounts with Sub-Cultures // Screen Education. Spring 1980. No. 34* и статьи Хазеля Карби и Пратихи Пармар в альманахе «Империя наносит ответный удар» (*The Empire Strikes Back*).

способствовал появлению новых объектов исследования и пересмотру представлений о старых. Например, в исследованиях средств массовой информации внимание сместилось с «мужского» жанра новостей и текущих событий к важности «легких развлечений». Он также способствовал повороту от старой критики идеологии (сосредоточенной на картах смыслов или версиях реальности) к подходам, сосредоточенным на социальных идентичностях, субъективности, популярности и удовольствии. Феминистки также, по-видимому, внесли особый вклад в преодоление раскола между гуманитарными науками и социологией, привнеся литературоведческие категории и «эстетические» взгляды в рассмотрение социальных проблем.

Надеюсь, эти примеры показывают, насколько важной была критика и насколько она была связана с политикой в широком смысле слова. Отсюда вытекает множество вопросов. Если мы двигались вперед благодаря критике, нет ли опасности в том, что кодификация приведет к систематической замкнутости? Если задача состоит в стремлении к по-настоящему полезному знанию, поможет ли этому академическая кодификация? Разве основная задача состояла не в том, чтобы быть более «популярными», а не академичными? Эти вопросы становятся еще острее в конкретных контекстах. Культурные исследования — это предмет, который преподается многим, поэтому, если мы не будем предельно осторожными, студенты увидят в нем новую ортодоксию. Во всяком случае, студенты, которые в настоящее время слушают лекции, курсы и сдают экзамены по исследованиям культуры. Как же они смогут критически принять критическую традицию?

Это подкрепляется тем, что нам известно об академических и других дисциплинарных формах знания. Различение форм власти, связанных со знанием, является, возможно, одним из главных достижений 1970-х. Это самая общая тема: в работах Пьера Бурдьё и Мишеля Фуко, в критике науки и сциентизма радикальных философов и радикальных ученых, в радикальной философии и социологии образования и феминистской критике господствующих академических форм. Наблюдался отход от решительного утверждения науки в начале 1970-х (с Альтюссером как одной из главных фигур) и переход к распаду таких достоверностей (с Фуко как образцом) в наше время. Академические формы знания (или некоторые их аспекты) теперь, похоже, составляют часть проблемы, а не решения. На самом деле проблема во многом остается той же, что и всегда — каким образом академическое участие и навыки могут способствовать получению элементов полезного знания?

## ПОТРЕБНОСТЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ

Острая потребность в определении, тем не менее, существует. Как-никак существует повседневная политика колледжа или школы, что уже не мало, принимая во внимание наличие рабочих мест, ресурсов и возможностей для полезной работы. Культурные исследования завоевали здесь реальное пространство, и оно должно быть сохранено и расширено. Контекст («большой») политики делает эту задачу еще более важной. Мы переживаем консервативную контрреформацию в Британии и Соединенных Штатах, одним из проявлений которой служит решительное наступление на государственные образовательные институты, выражающееся в сокращении финансирования и оценки полезности исключительно с капиталистической точки зрения. Культурные исследования нуждаются в определении для ведения эффективной борьбы в этих контекстах, подачи заявок на получение средств, достижения ясности у себя в головах посреди путаницы и неразберихи повседневной работы, а также определения приоритетов в преподавательской и исследовательской работе.

Но, возможно, больше всего нам нужно рассмотрение очень живой, но фрагментированной области исследований, если не как *единства*, то, по крайней мере, *в целом*. Если мы не будем обсуждать основные направления собственной деятельности, то разорвемся между потребностями академического самовоспроизводства и академическими дисциплинами, из которых отчасти вырастет наш предмет. Академические тенденции обычно просто воспроизводятся на новой основе: существуют четко литературоведческие или четко социологические или исторические версии культурных исследований, а также подходы, которые отличаются пристрастием к теории. На это можно было бы не обращать внимания, если бы любая дисциплина или проблематика могла схватить объекты культуры в целом, но это не так. Каждый подход говорит нам о крошечном аспекте. Если это так, то нам необходима особая работа по определению: рассматривающая существующие подходы, выделяющая их соответствующие объекты и их здравый смысл, а также пределы их компетенции. На самом деле нам нужно не определение или кодификация, а *указания* дальнейших преобразований. Это вопрос не соединения существующих подходов (немного социологии здесь, что-то от лингвистики там), а преобразования элементов различных подходов в их отношениях друг с другом.

## СТРАТЕГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Можно выделить несколько различных отправных точек. Культурные исследования можно определять как интеллектуальную и политическую традицию в ее отношениях с академическими дисциплинами, с точки зрения теоретических парадигм или по соответствующим объектам изучения. Последний момент теперь интересует меня больше всего; но сначала несколько слов о других.

Нам необходима история культурных исследований, позволяющая проследить происхождение нынешних дилемм и определить перспективы наших нынешних проектов. Но глубокое понимание «традиции» оказывает также «мифическое» воздействие, создавая коллективную идентичность и общее понимание цели. На мой взгляд, наиболее сильная связь заключена в одном слове «культура», которое остается полезным не как строгая категория, а как своеобразный итог истории. Такое понимание отсылает к попыткам вырвать исследования культуры из старых неэгалитарных путей высокохудожественных представлений и дискурсов и крайне пренебрежительного отношения к не-культуре масс. За этим интеллектуальным переопределением стоит несколько менее последовательное *политическое* развитие, простирающееся от «новых левых» и первой «Кампании за ядерное разоружение» до различных течений, возникших после 1968 года. Конечно, политические антагонизмы встречались и среди самих «новых левых» и между «новыми левыми» и интеллектуальными течениями, которые их породили. В политическом отношении интеллектуальные блуждания зачастую выглядели как самооправдание. Тем не менее, эту последовательность объединяла борьба за преобразование «старой левой» политики. Сюда относится критика старого марксизма, а также старой социал-демократии. Это сопряжено с конструктивной критикой господствующих стилей в лейбористском движении, особенно пренебрежительного отношения к культурным условиям политики и механического сужения самой политики.

Это понимание интеллектуально-политической связи было важным для культурных исследований. Оно означало, что исследовательская работа и письмо были политическими, но не в каком-то непосредственно прагматическом смысле слова. Культурные исследования — это не программа исследований для конкретной партии или течения. И еще меньше они связывают свои интеллектуальные усилия с какими-то устоявшимися доктринами. Такая политико-интеллектуальная позиция возможна, потому что политика, которую мы стремимся создать, еще не сформирована до конца. Точно так же, как политика предпо-

лагает длительный путь, так и исследование должно быть широким и глубоким, но желательно при этом политически направленным. Прежде всего, возможно, нам нужно бороться против разрыва, который происходит, когда культурные исследования сохраняются лишь для академических целей или когда интерес, скажем, к формам популярной культуры отделяется от анализа власти и социальных возможностей.

Я уже немало сказал о второй стратегии определения — очерчивании нашего негативного/позитивного отношения к академическим дисциплинам. Культурные процессы не соответствуют существующим контурам академического знания. Ни одна академическая дисциплина не способна схватить всю сложность (или серьезность) такого изучения. Культурные исследования должны быть междисциплинарными (и иногда антидисциплинарными) по своему подходу. Например, мне теперь трудно считать себя историком, хотя в некоторых контекстах грубым описанием может служить «историк современности». Тем не менее, некоторые качества историка кажутся полезными для культурных исследований — к примеру, интерес к развитию, особенно к сложности и контексту. Я по-прежнему люблю это сочетание насыщенного описания, сложного объяснения и субъективного, даже романтического воспоминания, которое встречается в лучших исторических работах. И я все еще считаю социологическое описание во многом ограниченным и очевидным, а литературоведческий дискурс остроумным, но поверхностным! С другой стороны, присущий практике исторической науки эмпиризм служит реальным препятствием, часто мешающим собственно культурному прочтению. Уверен, что то же самое можно сказать и о других дисциплинах. Конечно, есть немало временных пристанищ, многие из которых вполне могут служить мастерскими для культурных исследований, но движение, на мой взгляд, должно быть направлено из них в другие, более опасные места!

Наша третья стратегия определения — анализ и сравнение теоретической проблематики — до недавнего времени пользовались особым расположением<sup>9</sup>. Я все еще считаю это важной со-

9. См., напр.: *Hall S. Some Paradigms in Cultural Studies // Anglistica. 1978; Idem. Cultural Studies: Two Paradigms // Media, Culture and Society. 1980. No. 2 (переиздано в: Culture, Ideology and Social Process/T. Bennett et al. (Eds). Open University and Batsford, 1981 (см. перевод этой статьи в настоящем номере журнала. — Прим. ред.))* и ввводные статьи в: *Culture, Media and Language/S. Hall, D. Hobson, A. Lowe and P. Willis (Eds). London: Hutchinson, 1980.* Эти статьи представляют собой сжатые версии теоретического курса для бакалавров ЦСКИ, который читался Холлом и который служит наиболее полной теоретической картографией поля. См. также мои соб-

ставляющей всех культурных исследований, но основная трудность здесь состоит в том, что абстрактные формы дискурса отделяют идеи от социальных комплексов, которые их изначально породили или к которым они изначально обращались. Если они постоянно не реконструируются и не удерживают в сознании ориентир, работа по теоретическому прояснению приобретает независимый импульс. В преподавании или другом подобном взаимодействии теоретический дискурс может показаться слушателю формой интеллектуальной эквилибристики. Проблема, по-видимому, состоит в освоении нового языка, простая непринужденность в обращении с которым требует немалых сил и времени. Между тем, в новых формах дискурса содержится нечто подавляющее и, возможно, угнетающее. Мне кажется, это довольно распространенный опыт для студентов даже там, где «теория», в конце концов, открыла новые возможности для понимания и артикуляции. Это одна из причин того, почему многие из нас теперь считают полезным начинать с конкретных примеров либо в процессе преподавания теории исторически в виде продолжающихся, контекстуализированных дебатов о культурных проблемах, либо при попытке сочетать теоретические идеи и современный опыт.

Это подводит меня к предпочтительной стратегии определения. Ключевые вопросы здесь выглядят так: каков соответствующий *объект* культурных исследований? Чему посвящены культурные исследования?

## ПРОСТЫЕ АБСТРАКЦИИ: СОЗНАНИЕ, СУБЪЕКТИВНОСТЬ

Я уже сказал, что «культура» ценна как напоминание, а не как точная категория; Реймонд Уильямс показал ее огромный исторический репертуар<sup>10</sup>. Эта многозначность неразрешима: считать, что мы можем сказать, «что этот термин будет означать впредь...», и ожидать, что вся история коннотаций (если не сказать все будущее) браво возьмет под козырек, значит впадать в рационалистическую иллюзию. Поэтому, хотя я размахиваю флагом культуры и продолжаю использовать это слово там, где неточность не представляет проблемы, я ишу другие термины.

ственные попытки теоретического прояснения, испытавшие значительное влияние Стюарта, особ. в: *Working Class Culture*/J. Clark, C. Critcher and R. Johnson (Eds.). London: Hutchinson, 1979.

10. См. статьи «Культура» и «Общество» в: *Williams R. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. London: Fontana, 1976.

Вместо этого моими ключевыми терминами служат «сознание» и «субъективность» с ключевыми проблемами, лежащими теперь где-то между ними. Для меня культурные исследования означают изучение исторических форм сознания или субъективности, переживаемых нами субъективных форм или, прибегая к довольно рискованному сокращению или упрощению, субъективной стороны социальных отношений. Эти определения заимствуют некоторые простые абстракции Маркса, но ценят их также за их созвучие современности. Я говорю о сознании, прежде всего, в том смысле, в каком оно появляется в «Немецкой идеологии». В качестве (пятой) предпосылки для понимания человеческой истории Маркс и Энгельс добавляют, что люди «также обладают сознанием». Такое употребление встречается также и в более поздних работах. Маркс отсылает к нему, отмечая в первом томе «Капитала», что различие между худшим архитектором и лучшей пчелой состоит в том, что продукт архитектора «уже существовал идеально» до своего производства. Он существовал в сознании, воображении. Иными словами, люди отличаются идеальной или воображаемой жизнью, в которой воспитывается воля, грезятся грезы и вырабатываются категории. В своих «Экономическо-философских рукописях 1844 года» Маркс называл эту черту «видовой»; позднее он назвал ее «общеисторической» категорией, истиной всей истории, простой или всеобщей абстракцией<sup>11</sup>. Пусть и с меньшей определенностью, Маркс также говорил о «субъективной стороне» или «субъективном аспекте» социальных процессов.

В марксистском дискурсе (я не так уверен насчет Маркса) сознание имеет преимущественно познавательные коннотации: оно связано со знанием (особенно верным знанием) социального и природного миров. Я полагаю, что у Маркса сознание значило намного больше. Оно включало сознание собственного «я» и *активное ментальное и моральное самовоспроизводство*. Но нет никаких сомнений в том, что особенно его интересовало понятийно организованное знание, главным образом в его рассмотрении особенных идеологических форм (например, политической экономии, гегельянского идеализма и т. д.) В его самом интересном тексте о характере мышления (во введении 1857 года к «Экономическим рукописям 1857–1861 годов») упоминались и другие формы сознания — эстетические, религиозные и т. д.

«Субъективность» здесь особенно важна, указывая на то, что отсутствует в сознании. Субъективность, например, включает возможность того, что некоторые элементы или импульсы яв-

11. Рассмотрение «общеисторической» абстракции у Маркса см.: Johnson R. Op. cit. P. 172.

ляются субъективно активными — они *движут* нами, — оставаясь при этом неосознанными. Она выводит на первый план элементы, связываемые (в обманчивом различении) с эстетической или эмоциональной жизнью и традиционно «женскими» кодами. Она сосредоточена на той составляющей культуры, которая отвечает на вопрос «кто я такой» или, что не менее важно, «кто мы такие», на индивидуальных и коллективных идентичностях. Она связана с важнейшим структуралистским прозрением: субъективности производятся, они не даны, и потому они представляют собой предмет изучения, а не предпосылку или отправную точку.

Во всех моих размышлениях о культурных исследованиях я вижу постоянное возвращение понятия «формы». Такое употребление определяется двумя важными влияниями. Маркс постоянно использует термины «формы», «социальные формы» или «исторические формы», рассматривая в «Капитале» (и особенно в «Экономических рукописях 1857–1861 годов») различные моменты экономического обращения: он анализирует денежную форму, товарную форму, форму абстрактного труда и т. д. Реже он использовал этот язык, когда писал о сознании или субъективности. Самый знаменитый пример содержится в «Предисловии» 1859 года:

Необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче — от идеологических *форм*, в которых люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение (выделено мной. — Р. Дж.).

В этой цитате лично меня интересует связь другого параллельного проекта с проектом самого Маркса. Его интересовали социальные формы, посредством которых люди производили и воспроизводили свою материальную жизнь. Он абстрагировал, анализировал и иногда реконструировал в более конкретных описаниях экономические формы и тенденции социальной жизни. Мне кажется, что культурные исследования также интересуются обществами в целом (или более широкими социальными формациями) и тем, как они развиваются. Но они рассматривают социальные процессы под другим углом. *Наш* проект состоит в абстрагировании, описании и реконструкции в конкретных исследованиях социальных форм, в которых люди «живут», становятся сознательными, субъективно воспроизводятся.

Акцент на формах подкрепляется некими более широкими структуралистскими прозрениями. Они выделяли структурированность форм, субъективно переживаемых нами: язык, зна-

ки, идеологии, дискурсы, мифы. Они указывали на регулярность и принципы организации — *оформленность*, если угодно. Хотя они часто излагались на слишком высоком уровне абстракции (например, язык вообще, а не языки в частности), они подкрепляли наше сознание прочности, детерминированности и действительного существования социальных форм, которые оказывали свое воздействие посредством субъективной стороны социальной жизни. Это не значит, что можно ограничиться описанием понятий в таком смысле форм.

Важно также видеть историческую природу субъективных форм. «Историческое» в этом контексте означает две совершенно разные вещи. Во-первых, мы должны рассматривать формы субъективности с точки зрения их воздействия или тенденций, особенно их противоречивых сторон. Иными словами, даже в абстрактном анализе мы должны искать принципы развития, а также комбинации. Во-вторых, нам необходима история форм субъективности, показывающая, как эти тенденции менялись под действием других социальных детерминант, в том числе тех, которые действовали посредством материальных потребностей.

Как только мы представляем это в виде проекта, становится видно, что простые абстракции, которые мы использовали до сих пор, были не слишком разнообразными. Где все промежуточные категории, позволяющие нам начать определять субъективные социальные формы и различные моменты их существования? Принимая во внимание наше определение культуры, мы не можем ограничивать область исследования специализированными практиками, отдельными жанрами или популярными способами проведения досуга. *Все социальные практики* могут быть рассмотрены с культурной точки зрения в том, что касается работы, которую они субъективно выполняют. Это относится, например, к работе на заводе, профсоюзной организации, жизни внутри и вокруг супермаркета, а также к очевидным целям, вроде «средств массовой информации» (обманчивое единство!) и их способов потребления (преимущественно внутри страны).

## ЦИКЛ КАПИТАЛА — ЦИКЛ КУЛЬТУРЫ?

Таким образом, нам необходима, прежде всего, намного более сложная модель с богатыми промежуточными категориями, более многослойная, нежели существующие общие теории. Здесь мне кажется полезным выдвинуть одну реалистическую гипотезу по поводу нынешнего состояния теории. Что, если нынешние теории — и способы исследования, связанные с ними, — на са-

мом деле выражают различные стороны одного и того же сложного процесса? Что, если все они верны, но только в том, чем они занимаются, в тех частях процесса, которые видны им лучше всего? Что, если все они ложны или неполны, склонны вводить в заблуждение там, где они лишь частичны и неспособны ухватить процесс в целом? Что, если попытки «расширить» эту компетенцию (не меняя теории) ведут к поистине серьезным и опасным (идеологическим?) выводам?

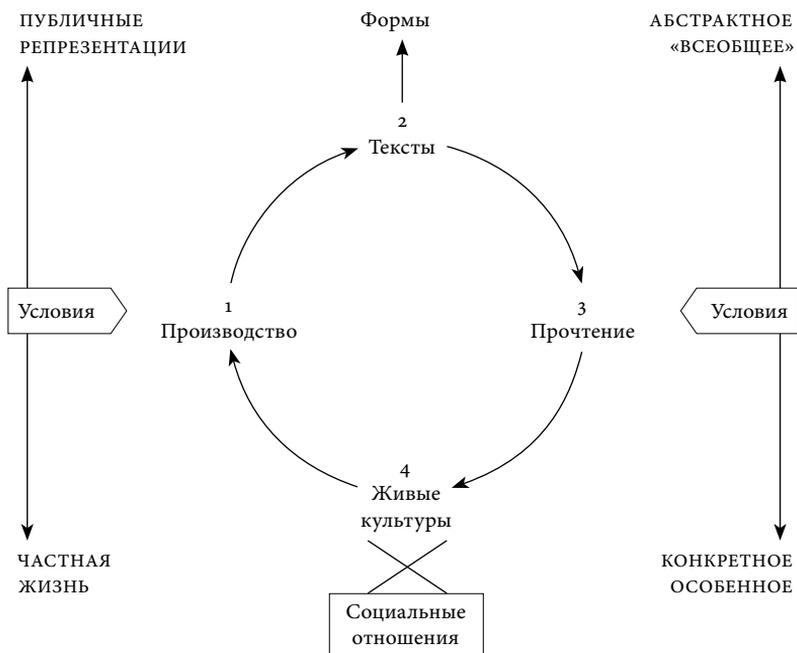
Я, конечно, не рассчитываю на немедленное принятие эпистемологических допущений этой идеи. Я надеюсь, что она будет оценена в свете ее результатов. Но ее важное достоинство состоит в том, что она помогает объяснить одну ключевую особенность: отмеченную уже теоретическую и дисциплинарную фрагментацию. Конечно, ее можно было бы объяснить политическими, социальными и дискурсивными различиями, которые также были рассмотрены нами: особенно интеллектуальным и академическим разделением труда и общественным воспроизводством форм культурного капитала специалистов. Тем не менее, мне кажется более разумным связать эти явные различия с самими процессами, которые они стремятся описать. Возможно, академические различия также отвечают различным социальным позициям и точкам зрения, с которых различные аспекты культурного обращения видятся наиболее важными. Это позволяет объяснить не просто существование различных теорий, но и *повторение* и *сохранение* различий, особенно между крупными *кластерами* подходов с определенными сходствами.

Лучше всего такую идею можно развить, предложив некое условное описание различных аспектов или моментов культурных процессов, с которыми затем можно было бы связать различную теоретическую проблематику. Такая модель может и не стать завершенной абстракцией или теорией, если такое вообще возможно. Ее ценность может быть эвристической или иллюстративной. Она может помочь объяснить различия между теориями, не будучи при этом сама по себе очерком идеального подхода. Самое большее, чем она может стать, — это указанием на желательные направления будущих подходов или способ, позволяющий изменять или сочетать их. Важно иметь эти недостатки в виду в дальнейшем. На мой взгляд, проще всего (в давней традиции ЦСКИ<sup>12</sup>) представить такую модель схематически (см. ниже). Эта диаграмма призвана показать цикл

12. Здесь и далее — аббревиатура Центра современных исследований культуры (The Centre for Contemporary Cultural Studies), действовавшего в 1963–2002 гг. в Бирмингемском университете. Основателем и первым директором центра был Ричард Хогарт. — *Прим. ред.*

производства, обращения и потребления культурных продуктов. Каждая ячейка означает определенный момент в этом цикле. Каждый момент или аспект зависит от остальных и обязателен для целого. Но каждый из них отличен и связан с важными изменениями формы. Из этого следует, что, если мы зайдем одну из точек цикла, мы не обязательно увидим то, что происходит в других. Формы, которые кажутся нам наиболее важными в одной точке, могут отличаться от тех, которые кажутся нам наиболее важными в другой точке. Процессы исчезают в результатах<sup>13</sup>. Например, все культурные продукты должны быть произведены, но условия их производства не могут быть выведены из тщательного изучения их как «текстов». Точно так же все культурные продукты «проглатываются» людьми, за исключением профессиональных аналитиков (если бы дело обстояло иначе, в их производстве не было бы большого проката), но мы не можем предсказать их употребления на основе нашего собственного анализа или условий производства. Как известно, наши послания обычно возвращаются к нам в неузнаваемом или, по крайней мере, преобразованном виде. Мы часто называем это неверным пониманием или, в университетских кругах, неверным прочтением. Такие «неверные» действия настолько распространены (во всем обществе), что их вполне можно назвать нормальными. Тогда для понимания преобразований нам нужно понять определенные условия потребления или прочтения. К ним относятся асимметрии в ресурсах и власти, материальной и культурной. К ним также относятся существующие совокупности культурных элементов, уже действующие в определенных социальных *milieux* («живые культуры» на диаграмме) и социальных отношениях, от которых зависят эти комбинации. Эти вместилища дискурсов и значений, в свою очередь, служат сырьем для нового культурного производства. Они относятся к особым культурным условиям производства. В наших обществах многие формы культурного производства также принимают форму капиталистических товаров. В этом случае от нас требуется обеспечение специфически капиталистических условий производства (см. стрелку, указывающую на момент 1) и специфически капиталистических условий потребления (см. стрелку, указывающую на момент 3). Конечно, это не говорит нам

13. Эта диаграмма в своем *общем* виде основывается на прочтении марксова описания цикла обращения капитала и его метаморфоз. Важное и оригинальное объяснение этого и связанных с ним вопросов (например, фетишизма) см.: *Molina V. Marx's Arguments about Ideology* // Litt M. Thesis. University of Birmingham, 1982. Эта магистерская диссертация уже засчитана за докторскую. См. также: Hall S. *encoding/Decoding* // Culture, Media and Language.



всего, что можно знать об этих моментах, которые могут быть структурированы также в соответствии с другими принципами, но в этих случаях цикл одновременно является циклом капитала и его расширенного воспроизводства и циклом производства и обращения субъективных форм.

Кое-что в этом цикле станет понятнее, если рассмотреть конкретный пример. Возьмем, к примеру, автомобиль *Austin Mini Metro*. Я выбрал *Mini Metro*, потому что это довольно стандартный капиталистический товар конца XX века, вместивший в себе огромное множество смыслов. *Metro* был автомобилем, который должен был спасти британскую автомобильную промышленность, выбив конкурентов с рынка и решив острые проблемы промышленной дисциплины «Бритиш Лейланд». Он стал символизировать спасение от внутренних и внешних национальных угроз. Примечательна рекламная кампания вокруг его выпуска. В одном из роликов группа из нескольких *Mini Metro* преследовала группу из нескольких иномарок вплоть до меловых скал близ порта Дувра, откуда они бежали на том, что выглядело поразительно похожим на десантные суда. Это был Дюнкерк наоборот с *Metro* в роли националистического героя. Некоторые из этих форм — националистический эпос, народная

память о Второй мировой войне, внутренняя/внешняя угроза — мне бы хотелось рассмотреть в дальнейшем более пристально. Но это также поднимает интересные вопросы о том, что в этом случае составляет «текст» (или сырье для таких абстракций). Достаточно ли проанализировать дизайн самого *Metro*, как когда-то Барт проанализировал дизайн линии *Citroen*? Как можно пренебречь рекламой и витриной автосалона? И не следует ли нам также вспомнить о месте *Metro* в дискурсах национального экономического возрождения и морального подъема?

Если ответить на эти вопросы утвердительно (и создать для себя еще больше работы), по-прежнему останутся некоторые незадаанные вопросы. Чем был феномен *Metro* для отдельных групп потребителей и читателей? Можно ожидать большого разнообразия ответов. К примеру, рабочие «Бритиш Лейланд», скорее всего, смотрели на автомобиль иначе, чем его новоиспеченные покупатели. Кроме того, *Metro* (и его измененные смыслы) стал способом добираться до работы или забирать детей из школы. Он также, возможно, способствовал ориентации на труд, соединив промышленный «мир» с национальным процветанием. В этом случае, продукты всего цикла вновь возвращались к моменту производства — как прибыль для новых капиталовложений, но также как полученные маркетологом данные о «популярности» («культурные исследования» самого капитала). Последующее использование «Бритиш Лейланд» подобных стратегий для продажи машин и ослабления рабочих привело к значительному накоплению (обоих видов) в результате этого события. На самом деле *Metro* стал небольшой парадигмой, пусть и не первой, намного более распространенной идеологической формы, которую, пойдя на определенное упрощение, можно было бы назвать «националистической продажей».

## ПУБЛИКАЦИЯ И АБСТРАКЦИЯ

До сих пор я говорил вообще о преобразованиях, которые происходят вокруг цикла, не выделяя ничего определенного. В этом кратком наблюдении я выделю два взаимосвязанных изменения формы, приведенные на рисунке справа и слева. Цикл связан с движением вокруг публичных и частных, а также более абстрактных и более конкретных форм. Эти два полюса довольно тесно взаимосвязаны: частные формы являются более конкретными и более особенными по своей области применения; публичные формы более абстрактны, но и применимы к более широкой области. Это можно пояснить, вернувшись к *Metro*, а затем перейдя к различным традициям культурных исследований.

Как идея дизайнера, как «концепт» менеджера, *Metro* оставалась частной<sup>14</sup>. Возможно, она даже разрабатывалась в условиях секретности. О ней знали немногие избранные. На этом этапе ее было бы трудно отделить от мероприятий, на которых она обсуждалась: заседания совета директоров, разговоры в баре, субботняя игра в гольф. Но когда идеи были «изложены на бумаге», они начали приобретать более объективную и более публичную форму. Решающий момент наступил, когда было принято решение разрабатывать «концепт», а с другой стороны — «обнародовать» его. Наконец, *Metro*-идея, за которой вскоре последовала *Metro*-машина, была представлена «на суд обществу». Она приобрела более общую значимость, сосредоточив вокруг себя на самом деле довольно претенциозные идеи. По сути, она стала большой публичной проблемой или символом таковой. Она также оформилась как действительный продукт и совокупность текстов. В одном очевидном смысле она была «конкретной»: вы не только могли попинать колесо у нее, вы могли водить ее. Но в другом смысле эта *Metro* была довольно абстрактной. Она стояла в автосалоне, окруженная своими текстами британскости, блеска и стремительности. И все же из одного только этого зрелища невозможно узнать, кто придумал ее, как она была сделана, кто дал на нее добро и как она могла использоваться обеспокоенной женщиной с парой детей, которая только что вошла в зал автосалона. Вообще в процессе публикации произошли три вещи. Во-первых, машина (и ее тексты) стали публичными в очевидном смысле: они приобрели, если не *всеобщее*, то по крайней мере *более общее* значение. Ее послания также стали общими, свободно распространившись по социальной глади. Во-вторых, на уровне *значения* публикация привела к *абстракции*. Машина и ее послания могли теперь рассматриваться относительно обособленно от социальных условий, которые ее сформировали. В-третьих, она была подвергнута процессу публичной *оценки* (важная публичная проблема) на множестве различных уровней: как технический социальный инструмент, как национальный символ, как ставка в классовой войне, как одна из конкурирующих моделей и т. д. Она стала местом серьезной борьбы за значение. В этом процессе она должна была оценивающе «говорить» за «нас всех (британцев)». Но отметим, что в момент потребления или прочтения, представленного здесь женщиной с детьми (которая выносит суждение о машине), мы вновь возвращаемся к частной,

14. Боюсь, что этот пример во многом гипотетичен, поскольку я никак не связан с руководством «Бритиш Лейланд». Любое сходство с людьми, живыми или мертвыми, чисто случайно и лишь подтверждает силу теории!

особенной и конкретной, хотя и публично представленной основе для возможных прочтений.

Я хочу сказать, что эти процессы присущи культурным циклам в современных социальных условиях и что они производятся *отношениями власти* и производят их. Но наиболее подходящее свидетельство этого содержится в повторяющихся различиях в форме культурного исследования.

## ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ — ФОРМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В культурных исследованиях имеет место один важный — теоретический и методологический — водораздел. С одной стороны, есть те, кто настаивает на изучении «культур» в целом и *in situ*, на месте, в их материальном контексте. Подозрительно относясь к абстракциям и «теории», их практическая теория на самом деле является «культуралистской». Их часто привлекают формулировки Уильямса или Э.П. Томпсона, говорящих о культурах как целых образах жизни или целых формах борьбы. В методологическом отношении они подчеркивают важность комплексного, конкретного описания, схватывающего, в частности, единство и гомологию культурных форм и материальной жизни. Поэтому они отдают предпочтение социально-историческому воссозданию культур или культурных движений, этнографическому культурному описанию или всем видам письма (например, автобиографии, устной истории или реалистическим формам литературы), которые воссоздают социальный «опыт».

С другой стороны, есть те, кто подчеркивает относительную независимость или действительную автономию субъективных форм и средств означивания. Практическая теория здесь обычно является структуралистской, но в той форме, которая связана с дискурсивным конструированием ситуаций и субъектов. Предпочтительным методом служит абстрактное, иногда довольно формалистическое, рассмотрение форм, раскрывающее механизмы порождения значения в языке, повествовании или других видах знаковых систем. Если первая совокупность методов обычно имеет социологические, антропологические или социально-исторические корни, то вторая совокупность уделяет наибольшее внимание литературной критике, особенно традиции литературного модернизма и лингвистического формализма<sup>15</sup>.

15. Это разделение между «структуралистским» и «культуралистским» подходами уже обсуждалось, среди прочих, Стюартом Холлом и мной, но теперь речь идет о форме «объектов» и методов, а не о «парадигмах». См. ис-

В конечном счете, этот водораздел, на мой взгляд, служит серьезным препятствием на пути к развитию культурных исследований. Но сначала важно показать, как логика этого водораздела соотносится с нашим общим очерком культурных процессов. Если сравнить, более детально то, что мы назвали публичными и частными формами культуры, отношение может проясниться<sup>16</sup>.

Частные формы не обязательно должны быть частными в привычном смысле личного или индивидуального, хотя они могут вмещать в себя и то, и другое. Они также могут разделяться — коммунально и социально, — чего не бывает с публичными формами. Именно их особенность или конкретность делает их частными. Они касаются особенных жизненных опытов и исторически сконструированных потребностей особых социальных категорий. Они не притязают на определение взгляда на мир для тех, кто принадлежит к другим социальным группам. Они ограничены, локальны и умеренны. Они не стремятся к всеобщности. Они также тесно связаны с повседневным социальным взаимодействием. В своей повседневной жизни женщины ходят по магазинам, встречаются и обсуждают друг с другом различные вещи, связанные с ними самими, их семьями и их соседями. Сплетня — это частная форма, тесно связанная с ситуациями и отношениями, в которых находятся или в которые вступают женщины в нашем обществе. Конечно, *можно* описать дискурсивные формы сплетни абстрактно, подчеркивая, например, формы взаимности в речи, но это явно будет насилием над материалом, отрывающим его от непосредственного и зримого контекста, в котором возникают такие формы речи.

Еще более поразительный случай — культура заводского цеха. Как показал Пол Уиллис, между физическим трудом, розыгрышами и проявлениями здравого смысла на работе существ-

точники, приведенные выше в прим. 9, а также: *Johnson R. Histories of Culture/Theories of Ideology: Notes on an Impasse // Ideology and Cultural Production/M. Barrett, P. Corrigan, A. Kuhn, J. Wolff (Eds). NY: St. Martin's Press, 1979.*

16. На мои размышления о «публичном и частном» значительное влияние оказали определенные немецкие традиции, особенно дискуссии вокруг работы Юргена Хабермаса о «публичной сфере». Это теперь перенесено на американскую почву и используется в работах американских исследователей. См.: *Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Neuweid, Berlin, 1962; Negt O., Kluge A. Öffentlichkeit und Erfahrung: Zur Organisationsanalyse von Bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit. Fr.a.M., 1972. Фрагмент работы Негта и Клюге см.: Communication and Class Struggle/A. Matterlart, S. Siegelau (Eds). NY: International General. Vol. 2: Liberation, Socialism. 1983. P. 92–94.*

вует тесная взаимосвязь<sup>17</sup>. Дискурсивное понимание культуры призвано преодолеть разделение между практикой физического труда и ментальной теорией, характерное для публичных и особенно академических форм знания. Ни в одном из приведенных примеров — сплетни и культуры заводского цеха — нет четкого разделения труда в культурном производстве. При этом нет никаких технических инструментов производства сколько-нибудь серьезной сложности, хотя формы речи и символического использования человеческого тела довольно сложны, а потребители культурных форм ни формально, ни реально не отделены от их производителей — или отдалены от них — во времени и пространстве.

Я утверждаю, что для рассмотрения этих особенностей частных форм необходимы особые формы исследования и репрезентации. Исследователи, авторы и всевозможные наблюдатели приспособляли свои методы к тому, что казалось наиболее очевидной особенностью культуры в данный момент. Они стремились соединить субъективные и более объективные моменты, часто не разводя их теоретически или практически, отказываясь от проведения различия в целом. Именно этот акцент на «опыте» (термин, который идеально схватывает в себе это сочетание или идентичность) соединил практические процедуры социальных историков, этнографов и тех, кого, скажем, интересует «письмо рабочего класса».

В сравнении с этой насыщенной, плотной тканью повседневных встреч, транслируемая телевизионная программа кажется крайне абстрактным, даже эфемерным продуктом. С одной стороны, она представляет собой намного более простую репрезентацию «реальной жизни» (в лучшем случае), чем (одинаково сконструированные) нарративы повседневной жизни. Она принимает отдельную, абстрактную или объективную форму в виде программы/текста. Она приходит к нам из специального, неподвижного места, ящика стандартных размеров и формы, стоящего в углу нашей гостиной. Конечно, мы понимаем ее социально, культурно, коммунально, но она все еще содержит этот обособляющий момент, намного более явный, чем частный текст речи. Это обособленное существование, конечно, связано со сложным разделением труда в производстве и распределении и с физической, и с временной дистанцией между моментом производства и моментом потребления, характерной для публичных форм знания вообще. Подобные публичные средства массовой информации производят весьма необычные ма-

17. *Willis P. Shop-floor Culture, Masculinity and the Wage Form // Working Class Culture. P.185–198.*

нипуляции с пространством и временем, например, показывая по телевидению старые кинофильмы.

Я бы сказал, что эта очевидная абстракция в действительных формах публичной коммуникации лежит в основе целого спектра практик, сосредоточенных на конструировании реальности при помощи самих символических форм — с языком как основным образцом, хотя ключевым моментом здесь является объективация языка в тексте. Интересно было бы провести историческое исследование, связанное с этой гипотезой, которое попыталось бы разобраться с отношениями между реальными абстракциями коммуникативных форм и ментальными абстракциями теоретиков культуры. Я не считаю, что эти два процесса идут рука об руку или что изменения происходят синхронно. Но я уверен, что понятие текста как чего-то, что мы можем выделить, зафиксировать, точно определить и рассмотреть зависит от широкой циркуляции культурных продуктов, отделенных от своих непосредственных условий производства и потребляемых, так сказать, с задержкой.

## ПУБЛИКАЦИЯ И ВЛАСТЬ

Публичные и частные формы культуры не являются непроницаемыми друг для друга. На самом деле происходит обращение форм. Культурное производство зачастую связано с публикацией (*public-ation*), деланием частных форм публичными. С другой стороны, публичные тексты потребляются или прочитываются в частном порядке. Журналы для девочек, вроде *Jackie*, отбирают и преподносят некоторые элементы частных культур феминности, которые присутствуют в жизни молоденьких девушек. Одно временно они делают такие элементы открытыми для публичной оценки — в данном случае, «девчачье», «глупое» или «тривиальное». Они распространяют такие элементы среди определенной читательской аудитории, создавая свою собственную небольшую публику. Журнал — это сырье для тысяч девочек-читательниц, которые *заново* осваивают элементы, заимствованные печатным словом из культуры, которой они живут, и форм субъективности.

Не следует думать, что публикация всегда сопряжена с господством или унижением. Нам необходим тщательный анализ того, где и как публичные репрезентации помещают социальные группы в существующие отношения зависимости и где и как они оказывают освобождающее воздействие. Но даже без этого знания можно говорить о важности *власти* как элемента анализа, показывая основные способы, которыми она действует в публичных и частных отношениях.

Конечно, существуют глубокие различия с точки зрения доступа к публичной сфере. Многие социальные проблемы могут вообще не получать публичной огласки. Это значит, что они не просто остаются частными, а что они активно приватизируются, *удерживаются* на уровне частного. И когда дело касается формальной политики и действий государства, они остаются невидимыми, не обретая публичности. Это означает не только, что они должны быть ограничены, но что осознание их как зла должно удерживаться на уровне неявных или коммунальных смыслов. Внутри группы знание таких страданий может быть глубоким, но не таким, чтобы требовать избавления от него или находить страдания странными.

Возможно, как это часто бывает, такие частные проблемы действительно приобретают публичное измерение, но только на определенных условиях, так что они видоизменяются и преподносятся в определенном ключе. Сплетни, например, действительно обретают множество публичных форм, но обычно относимых к рубрике «развлечений». Они появляются, например, в мыльных операх или становятся «заслуживающими внимания» только благодаря их связи с частной жизнью королевской семьи, звезд или политиков. Точно так же элементы цеховой культуры могут быть инсценированы в виде комедии или эстрадного номера. Такая подача с точки зрения кода или жанра, как полагают некоторые теоретики, может и не исказить этих элементов как основы социальной альтернативы, но она явно работает на удержание их в рамках господствующих публичных определений значимости.

Публичная подача может действовать также более карательным или стигматизирующим образом. В этих формах элементы частной культуры утрачивают подлинность или рациональность и конструируются в качестве опасных, девиантных или нелепых<sup>18</sup>. Точно так же опыт подчиненных социальных групп преподносится как патологический: проблемы, требующие вмешательства, связаны не с организацией общества в целом, а с установками или поведением самой страдающей группы.

18. Имеется обширная социологическая литература об этих формах стигматизации, особенно о девиантной молодежи. Развитие этого направления работы в культурных исследованиях см.: *Hall S., Critcher C., Jefferson T., Clarke J., Roberts B. Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order (Critical Social Studies)*. London; Basingstoke: Macmillan, 1978. О более изошренных формах маргинализации см.: *Fighting Over Peace: Representations of the Campaign for Nuclear Disarmament in the Media // CCCS Stencilled Paper*. October 1982. No. 72/CCCS Media Group. О том, как левые и профсоюзы преподносятся в британских СМИ, см.: *Bad News/Glasgow University Media Group*. London: Routledge and Kegan Paul, 1976; *The Manufacture of News/S. Cohen, J. Young (Eds)*. London: Constable, 1973.

Такой способ подачи необычайно распространен: как правило, речь ведут не о субъектах, требующих исправления положения, а об объектах, нуждающихся во внешнем вмешательстве.

Будь у нас достаточно места, полезно было бы сравнить различные формы, которые эти процессы могут принимать в важных социальных отношениях в зависимости от класса, гендера, расы и возраста. Еще одним общим механизмом является конструирование в самой публичной сфере определений самого разделения публичного/частного. Конечно, они звучат как нейтральные определения: «все» согласны с тем, что наиболее важными публичными вопросами являются экономика, оборона, общественный порядок и, возможно, вопросы социального обеспечения и что другие проблемы — например, семейная жизнь, сексуальность — по своей сути, являются частными. Загвоздка в том, что доминирующие определения значимости весьма социально специфичны и, в частности, соответствуют структурам «интересов» (в обоих смыслах этого слова) мужчин из среднего класса. Отчасти именно поэтому они противостоят феминизму, движению за мир и зеленым партиям.

Я сделал акцент на этих элементах власти, рискуя отвлечься от основной идеи, потому что практика культурных исследований должна рассматриваться в рамках этого контекста. Продолжают ли они сохранять своим основным объектом более рассеянное публичное знание и их основные логики и определения или же рассматривают частные области культуры, культурные исследования неизбежно и глубоко вовлечены в отношения власти. Они составляют часть цикла, который сами же стремятся описать. Они могут, подобно академическому и профессиональному знанию, тщательно следить за соблюдением границ между публичным и частным или же критиковать его. Они могут заниматься надзором за субъективностями подчиненных или участвовать в борьбе за их лучшее представительство. Они могут быть частью проблемы или частью решения. Именно поэтому, обращаясь к определенным формам культурных исследований, нам нужно рассматривать не только объекты, теории и практики, но также политические ограничения и возможности различных точек зрения на обращение.

## С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Это особенно широкая и гетерогенная совокупность подходов. К этой рубрике я отношу подходы с совершенно различными политическими пристрастиями — от теоретических знаний рекламодателей и специалистов по связям с общественностью

в крупных организациях до многочисленных либерально-плюралистических теоретиков публичной коммуникации и большей части работ о культуре в марксистской и других критических традициях. Что касается конкретных дисциплин, такую точку зрения обычно занимают социологи, социальные историки, политэкономы или специалисты по политической организации культуры.

Более систематичный подход к культурному производству относительно недавно получил распространение в социологии литературы, искусства и форм популярной культуры. Этот интерес возник параллельно с дебатами о СМИ и изначально испытал большое влияние раннего опыта государственной пропаганды в условиях современных СМИ, особенно в нацистской Германии. На пересечении эстетических и политических дебатов возникла серьезная обеспокоенность влиянием капиталистических условий производства и массового рынка на культурные товары и «подлинность» культуры, включая популярное искусство. Исследования производства в этих традициях также разнились: от грандиозной критики политической экономики и культурной патологии массовых коммуникаций (например, ранней Франкфуртской школы) до пристального рассмотрения производства новостей, документальных фильмов или мыльных опер на телевидении<sup>19</sup>. При всем своем крайнем многообразии современная социальная история была озабочена на этот раз «культурным производством» социальных движений или даже целых социальных классов. Важно принять приглашение Э.П. Томпсона прочесть «Сотворение английского рабочего класса» с этой культурной точки зрения; работа Пола Уиллиса, особенно «Обучение детей рабочих», во многих отношениях служит социологическим эквивалентом этой историографической традиции.

Но все эти различные работы объединяет то, что они занимают, если не точку зрения производителей культуры, то, по крайней мере, *теоретическую* точку зрения производства. Они интересуются, прежде всего, производством и социальной организацией культурных форм. Конечно, центральное место здесь занимает марксистская парадигма, даже там, где она последовательно выступала против этого. Ранние марксистские объяс-

19. К лучшим исследованиям такого рода относятся: *Elliott P. The Making of a Television Series: A Case Study in the Sociology of Culture*. London: Constable/Sage, 1972; *Schlesinger P. Putting «Reality» Together: BBC News*. London: Constable/Sage, 1978; *Tunstall J. Journalists at Work*. London: Constable, 1971; *Hobson D. Crossroads: The Drama of a Soap Opera*. London: Methuen, 1982.

нения настаивали на главенстве условий производства и часто сводили их к некоей узко понятой версии «производительных сил и производственных отношений». Даже такой редуционистский анализ имел определенную ценность: культура понималась как социальный продукт, а не только как вопрос индивидуального творчества. Поэтому она подвергалась политической организации со стороны капиталистического государства или партий социальной оппозиции<sup>20</sup>. В поздних марксистских объяснениях началась разработка исторических форм организации культуры — «надстроек».

В работах Грамши исследование культуры с точки зрения производства занимало все более важное место вместе с культурными измерениями борьбы и стратегии в целом. Также был брошен вызов давнему и пагубному влиянию «высококультурных» или специальных определений «культуры» в самом марксизме<sup>21</sup>. Грамши, возможно, был первым крупным марксистским теоретиком и коммунистическим лидером, который сделал культуру народных классов серьезным объектом исследования и политической практики. В его работе также начинали появляться все более современные черты организации культуры: он пишет о культурных организаторах/производителях не просто как о кружках «интеллектуалов» по старому революционному или большевистскому образцу, а как о целых социальных стратах, сосредоточенных вокруг особых институтов — школ, училищ, права, прессы, государственной бюрократии и политических партий. Тем не менее, я полагаю, что Грамши оставался куда большим «ленинистом», чем полагали британские новые левые или академические круги<sup>22</sup>. Из работ, доступных по-английски, складывается впечатление, что его интересовало не столько субъективная работа культурных форм, сколько возможности их лучшей «организации» извне.

20. Формы «политической организации» зачастую оставались непроясненными у Маркса или последующих теоретиков вплоть до — и включая — Ленина. Для Ленина, как мне кажется, культурная политика оставалась вопросом организации и «пропаганды» в довольно узком смысле слова.
21. Примером сопротивления этой позиции внутри марксизма служит альтюссеровское исключение «искусства» из идеологии. Здесь также интересно сравнить представления Альтюссера и Грамши о «философии»; Альтюссер тяготеет к специально-академическому или «высококультурному» определению, а Грамши — к народному.
22. Я полагаю, что в Британии многие считают Грамши «антиленинистом», особенно те, кто занимается теорией дискурса. Но, возможно, ЦСКИ также недооценивает ленинизм Грамши. Я признателен Виктору Молина за обсуждение этого вопроса.

## НЕДОСТАТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Я вижу два постоянно встречающихся недостатка в рассмотрении культуры с этой точки зрения. Первый недостаток хорошо знаком — это «экономизм», хотя, на мой взгляд, полезнее поставить вопрос иначе. Имеется тенденция пренебрежения тем, что является специфическим для *культурного* производства в этой модели. Зачастую оно сближается с моделью (обычно) капиталистического производства вообще, оставляя без должного внимания *двойственную* природу обращения культурных товаров. К условиям производства относятся не только материальные средства производства и капиталистической организации труда, но и совокупность уже существующих *культурных* элементов, заимствованных из запасов живой культуры или уже публичных полей дискурса. Это «сырье» структурируется не только императивами капиталистического производства (то есть товаризации), но и косвенным влиянием капиталистических и других социальных отношений на существующие правила и дискурсы, особенно классовый и гендерный борьбы в связи с различными социальными символами и знаками. Несмотря на это, марксистская политическая экономия продолжает настаивать на грубо-очевидных «детерминациях» — в особенности на механизмах конкуренции, монополистического контроля и имперской экспансии<sup>23</sup>. Поэтому притязания отдельных семиологов на предложение альтернативного материалистического анализа оказываются не слишком влиятельными<sup>24</sup>. Иными словами, многие подходы к культуре могут иметь серьезные изъяны в своих основных посылах: как объяснения *культурного* про-

23. См., напр.: *Murdock G., Golding P. Capitalism, Communication and Class Relations // Mass Communication and Society / J. Curran, M. Gurevitch, J. Woollacott (Eds). London: Hodder Arnold, 1977; Murdock G. Large Corporations and the Control of the Communications Industries // Culture, Society and the Media / M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran, J. Woollacott (Eds). London: Routledge, 1990. См. также работу, полемизирующую с ЦСКИ: *Golding P., Murdock G. Ideology and the Mass Media: the Question of Determination // Ideology and Cultural Production. Ответ см.: Connell I. Monopoly Capitalism and the Media: Definitions and Struggles // Politics, Ideology and the State / S. Hibbin (Ed.). London: Lawrence and Wishart, 1978.**

24. Эти притязания в своих истоках близки к утверждению Альтюссера, что идеология имеет материальное существование. Классическое английское утверждение такого рода «материализма» см.: *Coward R., Ellis J. Language and Materialism: Developments in Semiology and the Theory of the Subject. London: Routledge and Kegan Paul, 1977. Это несколько отличается от утверждения Маркса, что при определенных условиях идеологии обретают «материальную силу» или разработки этой мысли у Грамши в вопросе об условиях популярности.*

изводства, производства *субъективных* форм, они рассказывают нам, в лучшем случае, о некоторых «объективных» условиях и работе некоторых социальных участков — обычно, об идеологической работе капиталистического бизнеса (например, реклама, работе коммерческих СМИ), а не об идеологической работе политических партий, школ или аппаратов «высокой культуры».

Вторая трудность связана не с экономизмом, а с тем, что мы могли бы назвать «продуктивизмом». Их часто рассматривают вместе, но аналитически их следует различать. Например, марксизм Грамши нельзя назвать экономистским, но он, возможно, является продуктивистским. Проблема состоит в выведении характера культурного продукта и его социального использования из условий его производства, как если бы в культуре производство определяло все. Распространенные формы такого выведения известны: нам нужно только проследить идею до ее источника, чтобы объявить ее «буржуазной» или «идеологической» — отсюда «буржуазный роман», «буржуазная наука», «буржуазная идеология» и, конечно, все их «пролетарские» соответствия. Большинство критиков этой редукции нападают на нее, отрицая связь между условиями возникновения и политической тенденцией<sup>25</sup>. Я не собираюсь отрицать, что условия возникновения (включая классовое или гендерное положение производителей) оказывают глубокое влияние на природу продукта. На мой взгляд, полезнее считать такую постановку знака равенства не «неверной», а *преждевременной*. Она может оказаться верной, в соответствии с логикой момента, но здесь оставляется без внимания целый спектр возможностей в культурных формах, особенно когда они реализуются в потреблении или «прочтении». Я не считаю, что все культурные формы могут быть объявлены «идеологическими» (в обычном марксистском критическом смысле), пока мы не только не исследовали их происхождение в первичном процессе производства, но и тщательно не проанализировали их текстовые формы и способы их рецепции. «Идеологическое», если оно не используется как нейтральный термин, — это *последний* термин, который должен применяться в таком анализе, а никак не первый<sup>26</sup>.

25. Это касается широкого спектра структуралистских и постструктуралистских теорий от аргументов Пуланцаса против классово-редукционистских понятий идеологии до более радикальных позиций Барри Хайндса и Пола Херста и других теоретиков «дискурса».

26. В этом отношении я не согласен со многими направлениями в культурных исследованиях, в том числе с довольно влиятельными, которые предпочитают расширенное употребление идеологии, а не большевистское или более ленинистское (в некоторых случаях) у Альтюссера. К примеру, идеология применяется в важном оксфордском курсе о популярной культуре

Я все еще считаю дебаты между Вальтером Беньямином и Теодором Адорно о направленности массовой культуры весьма показательным примером<sup>27</sup>. Адорно использовал все свое полемическое мастерство для рассмотрения капиталистических условий производства, отслеживания последствий в «фетишизированной» форме культурного товара и нахождения ее идеального соответствия в «регрессивном слушании» поклонников популярной музыки. В его рассуждениях содержится существенная дедуктивная и логически выводная составляющая, нередко основанная на важнейших теоретических достижениях, сделанных ранее Лукачем. Возникающие в результате смешения и упрощения прекрасно иллюстрируются одним из его (немногочисленных) конкретных примеров: его анализом слогана британского пива — «То, чего мы хотим, — это *Watneys*».

Марка пива преподносится как политический лозунг. Этот плакат позволяет понять не только природу современной пропаганды, которая продает свои слоганы и товары... тип отношений, о котором свидетельствует этот рекламный плакат и благодаря которому массы делают рекомендованный им товар объектом своего собственного действия, вновь встречается в образе восприятия легкой музыки. Они сами нуждаются в том и требуют того, что им подсовывают<sup>28</sup>.

Первые строки приведенной цитаты прекрасны. Мне нравится идея о параллельном развитии политической пропаган-

к формированию субъективностей как таковых. При таком расширении, на мой взгляд, термин утрачивает свою полезность — с тем же успехом можно использовать термины «дискурс», «культурная форма» и т. д. Вообще мне бы хотелось сохранить «негативные» или «критические» коннотации термина «идеология» в классическом марксистском дискурсе, хотя и без обычно сопутствующего этому представлению о марксизме как науке. Вполне возможно, что все наше знание мира и все наши концепции самости являются «идеологическими» или более или менее идеологизированными вследствие действия интересов и власти. Но это положение необходимо доказывать в конкретных случаях, а не класть в начало всякого анализа. Расширенное, «нейтральное» понимание термина не может избежать старых негативных коннотаций. Интересное изложение этих проблем см.: *Larrain J. Marxism and Ideology*. London: Macmillan, 1983; *Idem. The Concept of Ideology*. London: Hutchinson, 1979.

27. См. особ.: *Adorno T. On the Fetish Character of Music and the Regression of Listening* // *The Essential Frankfurt School Reader* / A. Arato, E. Gebhardt (Eds). NY: Urizen Books, 1978; *Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. Философские фрагменты*. М.; СПб.: Медиум, Ювента, 1997; *Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости* // *Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения*. М.: РГГУ, 2012. С. 190–234.

28. *Adorno T. Op. cit.* P. 287–288. Позднее он дает более цельную картину типов потребления популярной музыки, но даже танцы его поклонников напоминают «рефлексы искалеченных животных» (*Ibid.* P. 292).

ды и коммерческой рекламы, вызванная немецкой ситуацией. Прочтение слогана также весьма интересно тем, что показывает нам, как реклама работает над созданием *активной* идентификации. Но весь анализ идет наперекосяк, когда мы подходим к «массам». Различные потребители *Watneys* и читатели слогана предположительно должны действовать как марионетки пивоваров, без какого-либо воздействия других детерминаций. Все, что связано с удовольствием от слоганов или употреблением пива, выносится за скобки. Адорно, к примеру, не интересуется значением *Watneys* (или любого другого напитка) в контексте общения в пабе, на который указывает местоимение «мы». Возможность того, что у потребителей могут быть собственные причины для потребления данного продукта и что потребление пива имеет социальную потребительскую стоимость, не принимается в расчет<sup>29</sup>.

Это довольно крайний пример продуктивизма, но выведение следствий или прочтения из анализа производства встречается повсеместно. Это черта широкого направления в культурных исследованиях, заинтересованного в основном в анализе специфических областей публичного дискурса. Издания ЦСКИ «Полицейский ответ на кризис» и «Ненародное образование»<sup>30</sup> были исследованиями приведенных нами выше первых двух моментов — текстов в данном случае в области дискурса об общественном порядке и публичном образовании, — и их условий и историй производства — кампаний в поддержку правопорядка, «громких дел» в СМИ, работы «основных определителей», вроде судей и полиции, роль нового политического течения, «тэтчеризма» и т. д. Оба исследования обладали значительной прогностической ценностью, показав силу и популярность новой правой политики еще до — в случае с «Полицейским ответом...» — первой победы госпожи Тэтчер на выборах в 1979 году<sup>31</sup>. Точно так же я считаю, что «Ненародное образование» содержало в себе проницательный анализ фундаментальных противоречий социал-демократической политики в Бри-

29. Более разработанную критику см.: *Bradley D. Introduction to the Cultural Study of Music // CCCS Stencilled Paper. 1980. No. 61; Middleton R. Reading Popular Music // Oxford Popular Culture Course Unit. Unit 16. Block 4. Open University Press, 1981.*

30. *Unpopular Education: Schooling and Social Democracy in England since 1944 / CCCS Education Group (Ed.). London: Hutchinson, 1981.*

31. Анализ тэтчеризма оставался одним из важных интересов Стюарта Холла. См. важные статьи, переизданные в: *The Politics of Thatcherism / S. Hall, M. Jacques (Eds). London: Lawrence and Wishart / Marxism Today, 1983.* Особенно проницательным оказалось «Великое передвижное правое шоу», написанное до выборов 1979 года.

тании и, следовательно, в каком-то смысле агонии лейбористской партии. Тем не менее, как политические руководства эти исследования неполны: им недостает объяснения кризиса победы во Второй мировой войне и лейборизма в живой культуре групп рабочего класса или по-настоящему конкретного описания причин популярности новых правых идеологий. Иными словами, они ограничивались в основном изучением «публичных» СМИ и формальной политики. Но на этом нельзя останавливаться, особенно если мы не собираемся ограничиваться одной только критикой, а хотим помочь созданию новых политических программ и движений.

Такой подход можно перещеголять, если обратиться к Вальтеру Беньямину. Беньямин, конечно, лучше, чем Адорно, сознавал потенциал форм массовой культуры. Его восхищали ее технические и образовательные возможности. Они побуждали культурных производителей трансформировать не только сами свои работы, но и способы своей работы. Беньямин описывал техники современного культурного производства: «эпический театр» Брехта. Тем не менее мы можем видеть, что все эти идеи — прежде всего, комментарии критика по поводу теорий производителей, т. е. они занимают точку зрения производства. По-настоящему революционные шаги здесь все еще должны были предприниматься создателем. Беньямин также имел интересные идеи о способности современных форм к созданию новых и более обособленных отношений между читателем и текстом, но эта мысль оставалась абстрактной, выражая при этом оптимизм столь же априорного характера, как и пессимизм Адорно. Она не была связана со сколько-нибудь глубоким анализом более широкого опыта особенных групп читателей.

Наш первый случай (производство) оказывается интересным примером подхода, общая форма которого постоянно повторяется. Конечно, нам нужно рассматривать культурные формы с точки зрения их производства. Сюда относятся условия и средства производства, особенно в их культурных или субъективных аспектах. На мой взгляд, она должна также включать объяснения и понимание самого процесса производства — труд в его субъективном и объективном аспектах. Мы не можем постоянно обсуждать «условия» и никогда не обсуждать действия! В то же время мы должны избегать соблазна, содержащегося в марксистских дискуссиях о детерминации, подводить все остальные аспекты культуры под категорию исследований производства. Это требует более тонкого двухэтапного подхода. Во-первых, необходимо признать независимость и своеобразие особого момента производства — и сделать то же самое применительно к другим моментам. Необходимо это для того, что-

бы избежать редукционизма во всех его проявлениях. Но как только эта мысль зафиксирована в нашем анализе, вполне очевидным становится другой этап. Различные моменты или аспекты на самом деле неразличимы. Например, мы можем в каком-то смысле говорить (очень осторожно) о текстах как «продуктивных» и куда более обоснованно рассматривать прочтение или культурное потребление как процесс производства, в котором первоначальный продукт становится материалом для нового труда. Произведенный текст — это иной объект, нежели текст прочитанный. Проблема анализа Адорно и, возможно, продуктивистских подходов вообще состоит в том, что они выводят прочитанный текст из произведенного, но при этом они игнорируют элементы производства в других моментах, сосредоточивая внимание на «созидательности» производителя или критика. Возможно, в этом состоит главный предрассудок всех писателей, художников, учителей, педагогов и агитаторов в интеллектуальном разделении труда!

## ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТОВ

Второй кластер подходов в основном интересуется культурными продуктами. Чаще всего эти продукты считаются «текстами»; суть в том, чтобы представить их более или менее определенное «прочтение». Два момента кажутся здесь особенно важными: разделение между критиками-специалистами и обычными читателями и разделение между теми, кто практикует культуру, и теми, кто практикует, прежде всего, комментирование работ других. И то и другое имеет непосредственное отношение к росту и разработке образовательных и особенно академических институтов. Интересно, однако, что «модернизмы», которые так глубоко повлияли на культурные исследования, восходили в своих истоках к теориям производителей, а теперь наиболее интенсивно обсуждаются в академическом и образовательном контекстах. Я имею в виду, прежде всего, теории, связанные с кубизмом и конструктивизмом, русским формализмом и кино, а также представлениями Брехта о театре<sup>32</sup>.

Большей частью известного нам о текстовой организации культурных форм мы обязаны академическим дисциплинам, традиционно относимым к гуманитарным наукам или искусствам. Основные гуманитарные дисциплины, а также лингви-

32. Особенно полезными введениями служат здесь: *Harvey S. May 1968 and Film Culture*. London: British Film Institute, 1980; *Bennett T. Formalism and Marxism*. London: Methuen, 1979.

стика и литературоведение, разработали средства формального описания, необходимые для культурного анализа. Я имею в виду, к примеру, литературный анализ форм повествования, выделение различных *жанров*, а также целых семейств жанровых категорий, анализ синтаксических форм, возможностей и трансформаций в лингвистике, формальный анализ действий и речевого взаимодействия, анализ некоторых элементарных форм культурной теории философами и общие заимствования — критикой и культурными исследованиями — из семиотики и других версий структурализма.

При взгляде извне ситуация в гуманитарных науках и особенно в литературе кажется весьма парадоксальной: с одной стороны, развитие очень сильных инструментов анализа и описания; с другой стороны, довольно умеренные амбиции с точки зрения применения и объектов анализа. Обычно инструменты остаются техническими или формальными. Поразительным примером, как мне кажется, является лингвистика, которая производит впечатление сокровищницы культурного анализа, но при этом остается доступной только для посвященных и отличается академическим профессионализмом, от которого, по счастью, она начинает избавляться<sup>33</sup>. Другие возможности, по-видимому, постоянно ограничиваются «необходимостью» сказать что-то новое о каком-то затасканном тексте или обсуждаемом авторе. Иногда это сопровождается явным любительством, присутствие в котором общих культурных отсылок призвано санкционировать свободное приложение довольно заурядных суждений почти ко всему, что угодно. Тем не менее парадокс заключается в том, что гуманитарные дисциплины, которые в основном и занимаются рассмотрением субъективных форм жизни, уже представляют собой культурные исследования в зачаточном виде!

Формы, закономерности и конвенции, выделенные сначала в литературе (или определенных видах музыки или визуального искусства), нередко обладают намного большей социальной значимостью. Например, феминистки, занимающиеся изучением романа, проследили связь между повествователь-

33. См., напр., работу группы «критических лингвистов», первоначально базировавшихся в Университете Восточной Англии, особ.: *Fowler R., Hodge B., Kress G., Trew T. Language and Control. London: Routledge and Kegan Paul, 1979.* Я особенно признателен Гюнтеру Крессу, который провел несколько месяцев в Центре, и Утцу Маасу из Остбрюкского университета за крайне плодотворное обсуждение связей исследований языка и культурных исследований. См. также: *Maas U. Language Studies and Cultural Analysis // Paper for a Conference on Language and Cultural Studies at CCCS. December 1982.*

ными формами популярной романтической литературы, публичными ритуалами брака (например, королевской свадьбой) и, пусть только через свои собственные переживания, субъективным напряжением символической развязки романтической любви<sup>34</sup>. Под воздействием этой развивающейся модели схожие идеи и исследования были высказаны и проведены применительно к привычным проявлениям мужественности, воинственным фантазиям в мальчишеской культуре и повествовательным формам эпоса<sup>35</sup>. Как по заказу, конфликт по поводу Фолклендских/Мальвинских островов выкристаллизовал (и соединил) обе эти формы в особенно драматичном и реальном публичном спектакле. Трудно найти лучший пример ограниченности рассмотрения форм, вроде романа или эпоса, как просто *литературных* конструкций. Напротив, они относятся к наиболее влиятельным и вездесущим *социальным* категориям или *субъективным* формам, особенно в своих конструкциях конвенциональной женственности или мужественности. Люди живут, любят, страдают, сражаются и умирают из-за них и ради них.

Как обычно, проблема состоит в том, чтобы освоить методы, которые часто замыкаются в узких дисциплинарных рамках, и использовать их реальные догадки более широко и свободно. Какие же текстовые методы наиболее полезны? И какие проблемы нам следует рассматривать и пытаться преодолеть?

## ВАЖНОСТЬ ФОРМАЛЬНОГО

Особенно важны модернистские и постмодернистские влияния, в частности те, что связаны со структуриализмом и постсоссуровской лингвистикой. Я отношу сюда семиотику, но мне также

34. Многие из этих работ остаются неопубликованными. Я очень надеюсь, что среди следующих книг ЦСКИ будет сборник о романе. Между тем см.: Recent Developments/English Studies Group (Ed.) // Culture, Media, Language; Harrison R. Shirley: Romance & Relations of Dependence // Women Take Issue; McRobbie A. Working-Class Girls and Femininity // Ibid.; Connell M. Reading and Romance [Unpublished MA Dissertation]. Birmingham, 1981; Griffin C. Cultures of Femininity: Romance Revisited // CCCS Stencilled Paper. 1982. No. 69; Winship J. Woman Becomes an Individual: Femininity and Consumption in Women's Magazines // CCCS Stencilled Paper. 1981. No. 65; Di Michele L. The Royal Wedding // CCCS Stencilled Paper. Forthcoming.
35. Эта работа во многом связана с деятельностью Группы по изучению народной памяти в ЦСКИ, занимающейся подготовкой книги о популярности консервативного национализма. Я особенно признателен Лоре ди Мишель за ее вклад в начало рассмотрения вопросов, связанных с «эпосом», и Грэхему Доусону за рассмотрение мужественности, войны и мальчишеской культуры.

хотелось бы отнести сюда — как своего рода дальнего родственника — некоторые течения в «англо-американской» лингвистике<sup>36</sup>. Культурные исследования часто подходили к этим течениям крайне осторожно, с горячими баталиями, в частности, с теми видами анализа текстов, которые опирались на психоанализ<sup>37</sup>, но свежие модернистские вливания продолжают служить источником развития. Как человека, пришедшего из истории/социологии, меня часто поражают и некритически зачаровывают открывающиеся здесь возможности.

Современный формальный анализ предполагает действительно тщательное и систематическое описание субъективных форм и их тенденций и влияний. Он позволяет, к примеру, увидеть в повествовательности каноническую форму организации субъективностей<sup>38</sup>. Он также подводит нас к репертуару повествовательных форм, существующих одновременно, и действительным формам историй, характерным для различных образов жизни. Если мы будем считать их не архетипами, а исторически созданными конструкциями, то перед нами откроются огромные возможности для плодотворного конкретного исследования большого объема материала. Поскольку истории явно появляются не в форме литературных произведений и кино, а также в обыденных беседах, в воображаемом будущем и повседневных планах каждого и в конструировании идентичностей, индивидуальных и коллективных, посредством воспоминаний и историй. Какие здесь существу-

36. Особенно те, что развились из работ М. Э. К. Холлидея, включая группу «критических лингвистов». О Холлидее см.: Halliday: System and Function in Language/G. Kress (Ed.). London: Oxford University Press, 1976.

37. См., особ., объемную, во многом не опубликованную критику журнала *Screen* Группой исследования СМИ ЦСКИ, 1977–1978. Фрагменты этой критики см.: Culture, Media, Language. P. 157–173.

38. Я вижу это общее послание во многих работах — некоторые из них довольно критичны к структуралистскому формализму — о субъекте повествования в литературе, кино, на телевидении, в народной сказке, мифе, истории и политической теории. Моей отправной точкой служат теории повествования в целом — ср.: *Bart P.* Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. М.: Изд-во МГУ, 1987; *Jameson F.* The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. London: Methuen, 1981. Но больше всего меня интересует работа, на меньшем уровне общности, которая выделяет типы или жанры повествования. Здесь я нахожу значительные стимулы в работе о кинематографических или телевизионных повествованиях; см.: *Popular Television and Film/T. Bennett, S. Boyd-Bowman, C. Mercer, J. Woollacott (Eds).* London: BFI, 1981), а также об «архетипических» жанровых формах — эпоса, романа, трагедии и т. д.: *Frye N.* Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1957. Меня особенно интересуют истории, которые мы рассказываем себе индивидуально и коллективно. В этом отношении существующая литература до сих пор вызывает разочарование.

ют закономерности? Какие формы чаще всего можно выделить из этих текстов? Мне кажется, что в исследовании субъективных форм мы находимся на стадии, которую Маркс в «Экономических рукописях 1857–1861 годов» применительно к политэкономии назвал необходимой, но примитивной: «Когда формы еще только предстоит тщательно очистить от материи».

Здесь есть множество сдерживающих факторов. Одним из наиболее влиятельных служит неприятие абстрактных категорий и боязнь формализма. Я полагаю, что зачастую для этого нет никаких оснований. Нам необходимы абстрактные формы для тщательного и четкого описания с выделением вариаций и комбинаций. Я уверен, что Ролан Барт был прав, выступая против донкихотского неприятия «искусственности анализа»:

Будь историческая критика не столь запугана призраком «формализма», она, возможно, была бы не такой бесплодной; она понимала бы, что изучение специфики форм ни в чем не противоречит обязательным принципам целостности и историзма. Наоборот, чем специфичнее та или иная система определена в своих формах, тем лучше она поддается исторической критике. Пародируя известную максиму, можно сказать, что формализм в небольшой дозе уводит нас от Истории, зато в большой — приводит нас к ней назад<sup>39</sup>.

Конечно, бартовская «История» подозрительно пишется с большой буквы и лишается содержания: без связи с марксизмом семиотика не дает нам практики (если не считать таковой небольшие эссе Барта) воссоздания сложного целого из различных форм. Но я уверен, что мы бы пришли к лучшему, более точному объяснению истории, если бы мы поняли более абстрактно некоторые из форм и отношений, которые составляют ее. И в каком-то смысле работа Барта кажется мне недостаточно формальной. Степень проработанности его поздних работ иногда кажется необоснованной: слишком сложные, чтобы быть ясными, недостаточно конкретные, чтобы служить действительным объяснением. В этом и других семиологических предприятиях слышно оживленное гудение саморазвивающихся интеллектуальных систем, выходящих из-под контроля? Если это и так, то это гудение не слишком похоже на успокаивающий гул действительно «исторической» абстракции!

Радикальный структурализм интересовал меня по еще одной причине<sup>40</sup>. Он служит дальнейшим развитием критики эмпиризма, которая, как я говорил ранее, составляет философию

39. *Барт Р.* Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000. С. 236.

40. Под ними я имею в виду «постструктурализм» в обычном понимании. Это

скую основу культурных исследований. Этот радикальный конструктивизм — ничто в культуре не считается данным, все сконструировано — является основной идеей, которую нельзя забывать. Конечно, эти два момента взаимосвязаны, и второй служит предпосылкой первого. Именно потому, что мы не обладаем контролем над нашими субъективностями, мы так грубо выделяем их формы и прослеживаем их истории и будущие возможности.

#### ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ТЕКСТ?

Но если анализ текста незаменим, что же такое текст? Вспомним *Mini Metro* как пример тенденции «текстов» к полиморфному разрастанию; еще лучшим примером служит анализ «шпионских» жанров Тони Беннета<sup>41</sup>. Пролиферация близких репрезентаций в области публичных дискурсов ставит серьезные проблемы перед каждым представителем современных культурных исследований. Но есть худшие и лучшие способы работы с ними. Наиболее распространено, как мне кажется, традиционное литературное решение: мы выбираем «автора» (насколько это возможно), одну или ряд работ, возможно, отдельный жанр. Выбором могут служить популярные тексты, возможно, кино или телевидение, но все же в таких квазилитературных критериях существуют свои ограничения.

Например, если нас интересует, каким образом конвенции и технические средства, доступные в определенной среде, структурируют репрезентации, нам следует вести сравнительную работу *на пересечении* жанра и среды. Нам нужно проследить сходства и различия между литературным романом, романтической любовью как публичным зрелищем и любовью как частной формой или повествованием. Только так мы можем разрешить некоторые наиболее важные оценочные вопросы: насколько, к примеру, роман действует просто для удержания женщин в репрессивных социальных условиях и насколько идеологии любви все же могут выражать утопические концепции личных отношений. Конечно, мы *не должны* ограничивать наше исследование литературными критериями; имеются и другие возможности. Можно, например, считать основным критерием «проблемы» или периоды. Несмотря на ограничение своего выбора доволь-

кажется мне не слишком подходящим ярлыком, поскольку позднюю семиологию сложно понять без ранней или даже Фуко без Альтюссера.

41. Bennett T. James Bond as Popular Hero // Oxford Popular Culture Course Unit. Unit 21. Block 5; *Idem*. Text and Social Process: The Case of James Bond // Screen Education. Winter/Spring 1982. No. 41. P. 3–14.

но «мужским» жанром и СМИ, «Полицейский ответ на кризис» и «Ненародное образование» представляет собой исследование как раз такого рода. Они вращаются в основном вокруг исторического определения, рассматривая аспекты появления новых правых в основном с начала 1970-х годов. Логика этого подхода была продолжена в недавних исследованиях СМИ, проведенных ЦСКИ: исследование отражения в СМИ «Кампании за ядерное разоружение» в октябре 1981 года<sup>42</sup> и исследования СМИ в праздничную неделю после окончания войны за Фолкленды с Рождества 1982 года по Новый год 1983 года<sup>43</sup>. Последний подход особенно продуктивен, поскольку он позволяет нам исследовать конструирование праздников (и особенно игры на разделении публичного/частного), в соответствии с возможностями различных СМИ и жанров, например, телевизионной мыльной оперы и популярных ежедневных газет. Рассматривая современность и комбинированный «эффект» различных систем репрезентации, мы также надеемся приблизиться к распространенному опыту слушателей, читателей и зрителей. Эта форма исследования, основанная на конъюнктуре, которая в данном случае является исторической (время после окончания войны за Фолкленды в декабре 1982 года) и сезонной (Рождество), основывается на представлении о важности контекста для производства значения.

Вообще говоря, цель состоит в том, чтобы децентрировать «текст» как объект исследования. «Текст» теперь изучается не сам по себе и даже не из-за социальных последствий, к которым он может привести, а скорее из-за субъективных или культурных форм, которые он осуществляет и делает доступными. Текст — это только *средство* в культурном исследовании; строго говоря, это сырье, из которого могут быть выделены определенные формы (например, повествования, идеологической проблематики, способа обращения, позиции субъекта и т. д.). Он может также составлять *часть* более широкого дискурсивного поля или *комбинации* форм, появляющихся в других социальных пространствах с определенной регулярностью. Но основным объектом культурных исследований, на мой взгляд, является не текст, а *социальная жизнь субъективных форм* в каждый момент их обращения, включая их текстовые воплощения. Это долгий путь от литературной оценки текстов самих по себе, хотя, конечно, формы, в которых текстовые воплощения субъективных форм начинают цениться за другое, особенно крити-

42. Fighting Over Peace...

43. Этот проект еще не завершен; предварительное название: «Jingo Bells: The Public and the Private in Christmas Media 1982».

ками или преподавателями — особенно проблема «высокого» и «низкого» в культуре, — важны, особенно для теорий культуры и класса. Но это проблема, которая включает в себя «литературные» вопросы, а не воспроизводит их. Ключевой вопрос состоит в том, как критерии «литературности» сами начинают формулироваться и устанавливаться в академических, образовательных и других регулирующих практиках.

#### СТРУКТУРАЛИСТСКАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ

Конституирование текста — это одна проблема; другая — это тенденция к исчезновению при чтении текста других моментов, особенно культурного производства и прочтения, но также и более конкретных, частных аспектов культуры. Об этой тенденции можно написать сложную историю формализма, используя этот термин теперь в более знакомом, критическом смысле. Я понимаю формализм негативно, не как абстрагирование форм из текстов, а как абстрагирование текстов из других моментов. Это различие важно для меня, поскольку оно позволяет отличить обоснованный интерес к форме от необоснованного. Я бы объяснил формализм в негативном смысле с точки зрения двух основных совокупностей детерминаций: тех, что выводятся из социального положения «критика» и пределов особенной практики, и тех, что выводятся из особой теоретической проблематики, инструментов различных критических школ. Несмотря на существование исторических связей, особенно в XX веке, между «критикой» и формализмом, между ними нет никакой необходимой связи.

Формализм, который интересует меня больше всего, связан с различными структуралистскими и постструктуралистскими текстами, повествованиями, позициями субъекта, дискурсами и т. д. Я отношу сюда, неизбежно упрощая, весь ряд, который простирается от сосюрговской лингвистики и леви-стросссовской антропологии до раннего Барта и того, что иногда называют «семиологией маркера „я“»<sup>44</sup>, а также развития после мая 1968 года в кинокритике, семиотике, теории повествования, включая сложное пересечение альтюссерианского марксизма, более поздней семиотики и психоанализа. При всех различиях между ними, эти подходы к «практикам означивания» разделяют общие парадигматические пределы, которые я называю «структуралистской близорукостью».

44. Этот термин использовался для различения «структуралистских» и «постструктуралистских» семиологий с включением акцентов из лаканианского психоанализа как важного водораздела.

Они ограничиваются в основном рамками анализа текстов. И, выходя за его рамки, они подчиняют другие моменты анализу текстов. В частности, они склонны пренебрегать вопросами производства культурных форм или их более широкой социальной организации или сводить вопросы производства к «производительности» (я бы сказал «способности к производству») уже существующих систем значения, то есть формальных языков или кодов. Они также склонны пренебрегать вопросами прочтения или сводить их к способности понимания анализируемой текстовой формы. Они склонны выводить «понимание» читателей, по сути, из прочтения текста самим критиком. Я бы хотел сказать, что в обоих случаях имеет место один главный теоретический изъян — нехватка адекватной постструктуралистской (или, точнее, «постпостструктуралистской») *теории субъективности*. Это отсутствие подчеркивается в самих этих подходах; фактически, главное обвинение против различных вариантов старого марксизма состоит в том, что им недоставало «теории субъекта». Но эта нехватка восполняется крайне неудовлетворительно, соединяя анализ текстов и психоанализ в объяснении субъективности, остающемся крайне абстрактным, «узким» и неисторическим, а также, на мой взгляд, «чересчур объективным». Итак, в этих случаях мы имеем дело с отсутствием объяснения или объяснений *происхождения* субъективных форм и различных способов, которыми люди *обживают* их.

#### ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Этот подход проиллюстрировать проще. Возьмем, например, различие между культурными исследованиями в традиции ЦСКИ и особенно освоением грамшианских представлений о гегемонии и, скажем, основной теоретической тенденцией в журнале кинокритики, связанном с Британским институтом кинематографа, *Screen*. В итальянском контексте сравнение можно провести между «чистыми» традициями семиологических и культурных исследований. Хотя культурные исследования в Бирмингеме становились *более* историческими, более интересующимися особыми конъюнктурами и институциональными положениями, кинокритика в Британии двигалась, скорее, иным путем. Поначалу и в Британии, и во Франции был распространен старый марксистский интерес к культурному производству и особенно к кино как индустрии с конъюнктурами в кинематографическом производстве. Но, как и французские киножурналы, к концу 1970-х годов *Screen* стал все меньше интересоваться производством как социальным и историческим процессом и все больше «производительностью» самих знаковых систем,

в частности кинематографическими средствами репрезентации. Этот переход открыто отстаивался не только в критике реалистических теорий кино и реалистических структур самого конвенционального фильма, но и в критике «сверхреализма» (почитаемых) марксистских режиссеров, вроде Эйзенштейна и Брехта<sup>45</sup>. Это была часть более широкого движения, придававшего все большее значение средствам репрезентации вообще и утверждавшего, что мы должны выбрать между полной автономией и полной детерминированностью «означивания» или вернуться к последовательности ортодоксального марксизма. Согласно элегантной однобокой гиперболе, мифы говорят в мифотворце, язык говорит в говорящем, тексты читают читателя, теоретическая проблематика создает науку, а идеология или дискурс производят «субъекта».

В этих работах имелось объяснение производства, но очень незначительное. Если представлять производство как использование сырья, инструментов или средств производства и социально-организованных форм человеческого труда, то объяснение кино у *Screen*, например, было сосредоточено на некоторых инструментах или средствах производства/репрезентации. Я говорю «некоторых», потому что испытывшие влияние семиологии теории тяготели к инвертированию приоритетов старых марксистских подходов к производству, сосредотачиваясь только на некоторых культурных средствах, которыми действительно пренебрегала политическая экономия. Теория кино в 1970-х годах признавала «двойственность» кинематографического обращения, но интересовалась в основном рассмотрением кино как «ментальной машинерии»<sup>46</sup>. Это был вполне понятный вопрос выбора приоритетов, но зачастую ответ на него давался в гиперкритическом и ненакопительном ключе. Более серьезным недостатком было пренебрежение трудом, действительной человеческой деятельностью производства. И вновь это может показаться чересчур резкой реакцией на старую моду, особенно в случае теории авторского кино, ко-

45. Связь теории *Screen* с Брехтом и Эйзенштейном довольно случайна. Примечательно, что цитаты из Брехта брались в качестве отправных точек для спекуляций, которые заводили в совершенно ином направлении, нежели мысль самого Брехта. См., напр.: *MacCabe C. Realism and the Cinema: Notes of Some Brechtian Theses // Screen. Summer 1974. Vol. 15. No. 2. P. 7–27.*

46. «Институт кинематографа — это не просто киноиндустрия (которая работает для заполнения кинотеатров, а не опустошения их), это также ментальная машинерия — еще одна индустрия, — которую зрители, „приученные к кино“, должны исторически интернализировать и которая приспособливает их к потреблению фильмов» (*Metz C. The Imaginary Signifier // Screen. Summer 1975. Vol. 16. No. 2. P. 18.*).

торая, кстати, сама была утонченной концепцией труда! Пренебрежение (структурированной) человеческой деятельностью и особенно конфликтами во всех видах производства ретроспективно кажется наиболее вопиющим недостатком. Так, несмотря на частые упоминания понятия «практики» (например, «означающая практика»), это была практика совершенно без «праксиса» в старом марксистском смысле слова. Последствия этого особенно важны в дебатах, которые будут рассмотрены нами, о текстах и субъектах.

Но эту критику можно продолжить так: «средства» понимаются очень ограниченно. В теории *Screen* обычно рассматривались преимущественно кинематографические «средства» — кинокоды. Отношения между этими средствами и другими культурными ресурсами оставались без внимания: например, отношения между кодами реализма и профессионализма кинопроизводителей или отношения между медиа вообще и государством и формальной политической системой. Хотя эти элементы могли считаться средствами (они также могли пониматься как социальные производственные отношения), сырье для производства также во многом отсутствовало, особенно в их культурных формах. Ведь кино, как и другие публичные медиа, берет свое сырье из существующей области публичных дискурсов — целой области, не имевшей изначально отношения к «кино» — и, при условиях, оговоренных нами, также из частного знания. Критика самого понятия репрезентации (считавшегося необходимым для критики реализма) не позволила этим теоретикам привнести в свои объяснения кино лучшее понимание того, что старая и зрелая теория могла называть «содержанием». Кино, а затем и телевидение, рассматривались так, словно они делались ради самих себя, просто воспроизводя и трансформируя кинематографические или телевизионные формы, не привлекая и трансформируя дискурсы, произведенные сначала в другом месте. Таким образом, кинематографический текст абстрагировался от целой совокупности дискурсов и социальных отношений, которые окружали и формировали его.

Еще одним важным недостатком многих работ в этой области была тяга к отказу от всякого объяснения, не ограничивавшегося существующими средствами репрезентации, будь то языковая система, отдельная «практика означивания» или же политическая система. Объяснение ограничивалось текстовыми средствами и (исключительно) текстовыми «эффектами». Эти средства не рассматривались исторически как имеющие собственный момент производства. Это была не локальная трудность отдельных анализов, а общий теоретический недостаток,

встречающийся в самых ранних и самых влиятельных моделях теории. То же можно сказать и о сосюрговской лингвистике. Хотя правила языковых систем определяют речевые действия, повседневное использование лингвистических форм, по-видимому, не связано с самой языковой системой. Это отчасти объясняется тем, что ее принципы понимаются настолько абстрактно, что исторические изменения или социальные различия остаются незамеченными, а также тем, что нет никакого истинного момента производства самой языковой системы. Поэтому важные для понимания языка и других систем означивания моменты попросту оставляются без внимания: а именно — что языки производятся (или дифференцируются), воспроизводятся и модифицируются социально организованной человеческой практикой, что язык (если только он не «мертвый») не существует без говорящих на нем и что в словах, синтаксисе и дискурсивном использовании языка идет непрерывная борьба. Чтобы вернуться к пониманию этого, исследователи культуры, интересующиеся языком, должны перестать ограничиваться преимущественно французской семиологической традицией и обратиться к марксистскому философу языка Волошинову или к отдельным исследованиям, испытавшим влияние работы Бернстайна или Холлидея.

#### ЧИТАТЕЛИ В ТЕКСТАХ; ЧИТАТЕЛИ В ОБЩЕСТВЕ

Наиболее характерной чертой более поздней семиотики были притязания на разработку теории производства субъектов. Первоначально, оно основывалось на общем философском неприятии гуманистических концепций простого, единого «я» или субъекта, непроблематически пребывающего в центре мысли или моральной или эстетической оценки.

В этом структурализм близок к подобным рассуждениям у Маркса по поводу субъектов буржуазных идеологий, особенно предпосылку политической экономии, и вскрытию противоречий человеческой индивидуальности у Фрейда.

«Развитая семиология» предлагает несколько слоев теоретического осмысления субъективности, которые не так просто выявить<sup>47</sup>. Это сложная совокупность наслоений и переплетений сочеталась с прекрасным сознанием теоретических трудностей. Ключевая идея, на мой взгляд, состояла в том, что повествования или отображения всегда предполагают или конструируют позицию или позиции, с которых они должны быть прочита-

47. Нижеизложенное во многом обязано критике журнала *Screen* со стороны ЦСКИ, о которой говорилось выше (см. сн. 36).

ны или рассмотрены. Хотя термин «позиция» остается проблематичным (имеется в виду совокупность культурных навыков или, как предполагает термин, некое неизбежное «подчинение» тексту?), сама идея превосходна, особенно когда она применяется к визуальным образам и кино. Невозможно увидеть работу, проделанную камерой, под новым углом, которая не просто представляет объект, а помещает нас перед ним. Если прибавить к этому идею, что определенные виды текстов («реализм») натурализовали средства, которыми осуществлялось позиционирование, мы будем иметь двойную идею огромной силы. Это особенно важно потому, что благодаря этому процессы, прежде бессознательно вызывавшие боль (и наслаждение), становятся открытыми для прямого анализа.

В контексте моей собственной аргументации эти идеи важны потому, что они предлагают способ *связи* текстовых форм с исследованием пересечений с субъективностями читателей. Тщательное, разработанное и иерархизированное описание позиций прочтения, предлагаемых в тексте (в структуре повествования или способах обращения, например), кажется мне наиболее развитым методом, который имеется у нас в рамках текстового анализа. Конечно, такое прочтение не означает отрицания других методов: реконструкция явных и скрытых тем текста, его денотативных и коннотативных моментов, его идеологической проблематики или ограничивающих допущений, его метафорических или лингвистических стратегий. Легитимным объектом выделения «позиций» служит *воздействие* или *наклонности* субъективных форм, *направленность*, которую они придают нам, их *сила*. *Возникают трудности* — и немалые — с установлением того, насколько такие тенденции реализуются в субъективностях читателей, не прибегая к дополнительным и иным формам исследования.

Опьянение теорией делает такое движение крайне соблазнительным. Но переход от «читателя в тексте» к «читателю в обществе» означает скольжение от самого абстрактного момента (анализа форм) к самому конкретному объекту (действительным читателям, какими они конституируются социально, исторически, культурно). При этом остается незамеченным множество новых детерминаций или воздействий, которые мы теперь должны принимать во внимание. В дисциплинарном отношении мы переходим от основы, обычно рассматриваемой литературными подходами, к более привычным историческим или социологическим подходам, но общим новым элементом здесь служит способность справляться с множеством сосуществующих детерминаций, действующих на множестве различных уровней.

Чтобы оценить величину прыжка, нам понадобилось бы провести длительное и сложное исследование «прочтения»<sup>48</sup>. Пока же достаточно отметить некоторые трудности в рассмотрении прочтения не как восприятия или усвоения, а как самого акта производства. Если сырьем для этой практики служит текст, то мы вновь сталкиваемся здесь со всеми проблемами границ текста. Выделение текста для академического прочтения — это весьма специфическая форма прочтения. Столкновение с текстами обычно происходит случайно; они окружают нас со всех сторон. В повседневной жизни текстовый материал оказывается сложным, многогранным, пересекающимся, сосуществующим, сопоставляемым, одним словом, «интертекстуальным». Если использовать более гибкую категорию, вроде дискурса, для выделения *элементов*, которые встречаются в различных текстах, можно сказать, что все прочтения также «интердискурсивны». Ни одна субъективная форма не действует сама по себе. При этом *комбинации* невозможно предсказать формальными или логическими средствами или даже эмпирическим анализом области публичного дискурса, хотя, конечно, это все еще не мешает нам выдвигать гипотезы. Комбинации возникают, скорее, из более обособленных логик — структурированной жизнедеятельности в ее объективных и субъективных сторонах, читателей или групп читателей: их социального положения, их историй, их субъективных интересов, их частных миров.

Та же проблема возникает при рассмотрении инструментов этой практики или кодов, компетенций и ориентаций, уже существующих в данной социальной среде. И вновь здесь нельзя делать никаких предсказаний, исходя из публичных текстов. Они принадлежат к частным *культурам* в том смысле, в каком этот термин обычно использовался в культурных исследованиях. Они группируются вокруг «образов жизни». Они существуют в хаотических и исторически седиментированных ансамблях, которые Грамши называл здравым смыслом. Тем не менее, они определяют долгосрочные и краткосрочные последствия особых интерpellативных моментов или, как я предпочитаю говорить,

48. Кажется, существуют два довольно различных подхода к прочтению или «аудиториям»: один представляет собой развитие литературных подходов, а другой является более социологическим и часто связанным с исследованиями СМИ. В этом отношении работа Дэвида Морли кажется мне довольно интересной попыткой соединить некоторые элементы обоих этих подходов, хотя я согласен с его оценкой, что ранние отправные точки Центра, особенно понятия «гегемонистского», «обсуждаемого» и «альтернативного» прочтений были крайне грубыми. См.: *Morley D. The Nationwide Audience: A Critical Postscript // Screen Education. Summer 1981. No. 39. P. 3–14.*

форм культурной трансформации, которые всегда имеют место в прочтении. Все это указывает на центральное значение того, что обычно называют «контекстом». Контекст определяет значение, преобразование или важность определенной субъективной формы, а также саму форму. Контекст включает культурные черты, описанные выше, а также контексты непосредственных ситуаций (например, внутренний контекст домохозяйства) и более широкий исторический контекст или конъюнктуру.

Тем не менее, всякое объяснение будет неполным без определенного внимания к акту прочтения или попытке теоретически осмыслить его продукты. Отсутствие действия со стороны читателя характерно для формалистских объяснений. Даже те теории (например, Брехт, *Tel Quel*, Барт в *S/Z*), которые интересовались производительным, разрушительным или критическим прочтением, приписывали эту способность типам текста (например, «переписываемым» (*scriptible*), а не «читаемым» (*lisible*) в терминологии Барта), а вовсе не истории реальных читателей. Это отсутствие производства в прочтении сопровождается уже рассмотренным приписыванием производительности знаковым системам. В лучшем случае отдельные акты прочтения понимаются как воспроизведение исходного человеческого опыта. Точно так же, как старая литературная критика искала в тексте универсальные ценности и человеческие эмоции, так и новый формализм понимает чтение как возрождение психоаналитически определенных механизмов. Анализ взгляда зрителя, основанный на лаканианском описании стадии зеркала, позволяет выделить *некоторые* черты того, как мужчины используют образы женщин и относятся к героям<sup>49</sup>. Такой анализ действительно сближает текст и читателя. Имеется немало возможностей для критического использования фрейдовских категорий в культурных исследованиях, такого же критического, каким стало или становится использование марксистских категорий. Тем не менее, показанные способы сближения текста и читателя зачастую обходятся дорогой ценой: происходит радикальное упрощение социального субъекта, сведение его к исходным, обнаженным, младенческим потребностям. В результате, возникают сложности с выделением областей различия, представляющих интерес для исследователя, в том числе, как ни странно, гендера. В худшем случае представления о реальных субъектах сводятся к немногим универсалиям, подобно тому, как нас интересуют только некоторые основные черты текста. Процедура, которая вы-

49. См. знаменитый анализ с точки зрения «скопофилии» в: Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология гендерной теории. Минск: ПроPILEI, 2000. С. 280–297.

деляет в различных явлениях одни и те же старые механизмы, приводящие к одним и тем же последствиям, не может не вызывать к себе серьезных вопросов.

Во всех этих объяснениях отсутствует попытка более подробного описания поверхностных форм — потоков внутренней речи и повествования, — которые служат наиболее очевидным эмпирическим аспектом субъективности. Возможно, такой подход к сознанию сочтут гуманистическим. Но все мы (разве нет?) постоянно, изобретательно и жадно используем повествования и образы. И такое использование частично производится в голове, в воображаемом или идеальном мире, который сопровождает нас в каждом действии. Мы не просто позиционируемся историями о себе самих, историями о других. Мы используем реалистические истории о будущем для подготовки или планирования, осуществляя сценарии опасных или приятных событий. Мы используем воображаемые или фантастические формы для ухода от реальности или развлечения. Мы рассказываем истории о прошлом в форме памяти, которая конструирует версии того, кем мы теперь являемся. Возможно, все это просто предполагается в формалистском анализе, но выведение этого на передний план имеет важные последствия<sup>50</sup>. Это позволяет вернуть элементы самопроизводства в теории субъективности. Это означает, что прежде, чем оценивать производительность новых интерpellаций или делать прогнозы об их популярности, нам необходимо знать, какие истории уже имеются.

Все это сопряжено с преодолением того, что, по-видимому, служит основной посылкой формализма: при каждом столкновении с текстом реальные читатели «стираются», чтобы быть порабощенными (или освобожденными) вновь следующей интерpellацией. Постструктуралистская ревизия, подчеркивающая непрерывную производительность языка или дискурса как *процесса*, не обязательно оказывается полезной, так как неясно, что вся эта производительность производит на самом деле. Здесь отсутствует реальная теория субъективности, отчасти потому, что *explanandum*, «объект» такой теории, остается неопределенным. В частности, здесь отсутствует объяснение переноса или преемственности личных идентичностей при переходе от одного дискурсивного момента к другому, вроде способно-

50. Примечательно, например, что Барт не говорит ни слова о «внутреннем» повествовании в своем рассказе о вселили повествовательной формы: *Barthes R. Image-Music-Text*. NY: Hill and Wang, 1978. P. 79. Не свидетельствует ли отсутствие упоминания об этом о более серьезных трудностях, испытываемых структурализмом при рассмотрении вопроса о внутренней речи?

го оказаться полезным переосмысления памяти в дискурсивном ключе. Из-за отсутствия объяснения преемственности или того, что остается постоянным или накапливается, отсутствует также объяснение структурных сдвигов или серьезных перемен в самовосприятии, особенно во взрослой жизни. Такие преобразования всегда неявно отсылают к «внешним» текстовым формам, например, революционным или поэтическим текстам, преимущественно литературным. Нет никакого объяснения того, что делает читателя склонным к производительному использованию таких текстов и какие условия, помимо самих текстовых форм, способствуют революционным конъюнктурам в их субъективных измерениях. Точно так же при таком понимании текста нет никакого объяснения того, почему некоторые читатели (включая, по-видимому, самих аналитиков) способны использовать обычные или реалистические тексты критически. И, прежде всего, нет никакого объяснения того, что я называю *субъективными аспектами борьбы*, никакого объяснения того, каким образом социальные субъекты (индивидуальные или коллективные) порождают объяснения того, кто они такие, как сознательные политические агенты, то есть каким образом они конституируют себя политически. Требование такой теории не означает отрицания важных структуралистских или постструктуралистских идей: субъекты действительно являются противоречивыми, «процессуальными», фрагментированными, произведенными. Но индивиды и социальные движения также стремятся достичь определенной последовательности и непрерывности и тем самым осуществлять определенный контроль над чувствами, условиями и судьбами.

Именно это я и имею в виду, говоря о «постпостструктуралистском» понимании субъективности. Оно сопряжено с возвратом к некоторым старым, но поставленным по-новому вопросам о борьбе, «единстве» и производстве политической воли. Оно сопряжено с принятием структуралистской постановки проблемы — говорим ли мы о наших собственных фрагментированных самостях или об объективной и субъективной фрагментации возможных политических союзов. Но это также сопряжено с серьезным рассмотрением того, что мне кажется наиболее интересным политическим моментом: понятия дискурсивного самопроизводства субъектов, особенно в форме историй и воспоминаний<sup>51</sup>.

51. Идеи, изложенные в последних абзацах, продолжают разрабатываться Группой по исследованию народной памяти ЦСКИ. Некоторые предварительные соображения о характере текстов устной истории см.: *Popular Memory: Theory, Politics, Method // Making Histories*. P. 205–252. Также полезны

Надеюсь, что логика нашего третьего кластера подходов, сосредоточенных на «живой культуре», уже ясна. Говоря кратко, проблема состоит в понимании более *конкретных* и более *частных* моментов культурного обращения. Это ставит перед нами две задачи. Первая связана с практиками, которые могут детализировать, перестраивать и репрезентировать сложные ансамбли дискурсивных и недискурсивных черт, проявляющихся в жизни отдельных социальных групп. Вторая состоит в «социальном исследовании» или активном поиске культурных элементов, которые не появляются в публичной сфере или появляются, но лишь в абстрагированном и трансформированном виде. Конечно, частные формы доступны исследователям культуры в их собственном опыте и социальных мирах. Это неисчерпаемый ресурс, особенно если он выделяется осознанно, а его относительность признается. На самом деле подобная культурная самокритика служит обязательным условием, позволяющим избежать более идеологизированных форм культурного исследования<sup>52</sup>. Но первый урок здесь состоит в признании *серьезных культурных различий*, особенно в тех социальных отношениях, которые связаны с властью, зависимостью и неравенством. Использование (ограниченного) индивидуального или коллективного самопознания сопряжено с определенной опасностью, когда пределы его репрезентативности остаются неочерченными, а его другие стороны, обычно связанные со слабостью и беспомощностью, — просто неизвестны. Этим продолжают оправдываться формы культурного исследования, которые делают своим главным объектом культурные миры других (нередко представляющие обратную сторону их собственного культурного мира).

Нам следует с подозрением относиться к историческим предшественникам и современной ортодоксии в том, что ино-

статьи в: *Bertaux D. Biography and Society: The Life History Approach in the Social Sciences.* London: Sage, 1981; и особ.: *Hankiss A. Ontologies of the Self: on the Mythological Rearranging of One's Life History*// *Ibid.* P. 203–209.

52. Некоторые из лучших и наиболее влиятельных работ в культурных исследованиях основывались на личном опыте и частной памяти. «Использование грамотности» Ричарда Хоггарта — один из наиболее известных примеров, но вообще исследователи культуры должны иметь смелость больше использовать свой личный опыт — более открыто и более систематично. В этом смысле культурные исследования возвышаются над и отличаются от повседневной деятельности и жизни. Подобная коллективная деятельность, нацеленная на понимание не просто «общего» опыта, но и реальных различий и антагонизмов, особенно важна, если она позволяет справиться с недостатками, о которых пойдет речь ниже.

гда называют «этнографией», практикой репрезентации культур других. Практика, как и слово, увеличивает социальную дистанцию и конструирует отношения знания как власти. «Изучение» форм культуры уже отличается от более имплицитного переживания культуры, составляющей основную форму «здорового смысла» во *всех* социальных группах. (И я имею в виду *все* социальные группы — «интеллектуалы» могут уметь прекрасно описывать имплицитные допущения *других* людей, но, когда дело касается их самих, у них есть такие же «имплицитные» вещи.)

В частности, первые исследования новых левых — 1940-х, 1950-х и начала 1960-х годов — касались новой совокупности отношений между субъектами и объектами исследования, особенно в классовых отношениях<sup>53</sup>. Интеллектуальные движения, связанные с феминизмом и деятельностью некоторых чернокожих интеллектуалов, смогли изменить (но не отменить) такое социальное деление. Эксперименты с авторами из сообществ также в определенных рамках достигли новых социальных отношений культурного производства и публикации<sup>54</sup>. Даже в этом случае кажется разумным с подозрением относиться, если не к самим этим практикам, то ко всем их объяснениям, пытающимся минимизировать связанные с ними политические риски и ответственность или волшебным образом преодолеть сохраняющееся социальное разделение. Из-за того, что фундаментальные социальные отношения остались неизменными, социальное исследование возвращается к своим исходным основам, патологизируя зависимые культуры, нормализуя господствующие формы, содействуя в лучшем случае созданию академических имен, но не принося никакой пользы тем, кого они представляют. Помимо основной политической точки зрения, которую занимают исследователи, многое зависит от определенных теоретических форм работы, *определенного рода* этнографии.

#### ПРЕДЕЛЫ «ОПЫТА»

По-видимому, существует тесная связь между этнографиями (или историями), основанными на сочувственной идентификации, и эмпирическими или «выразительными» моделя-

53. Это особенно убедительно было показано Полом Джонсом в статье, опубликованной в: Thesis Eleven. Monash University (Australia), 1983.

54. См.: The Republic of Letters: Working Class Writing and Local Publishing/D. Morley, K. Worpole (Eds). London: Comedia, 1982. Более внешний и критический взгляд см.: Popular Memory... Также показательны дебаты между Кеном Уорполом, Стивеном Йео и Джерри Уайтом в: People's History and Socialist Theory/R. Samuel (Ed.). London: Routledge and Kegan Paul, 1981.

ми культуры. Задача состоит в репрезентации живых культур, как подлинных образов жизни, без насмешливого или снисходительного отношения к ним. Такого рода исследования часто использовались для критики господствующих репрезентаций, особенно тех, что влияют на государственную политику. Исследователи часто опосредовали частный мир рабочего класса (нередко мира своего собственного детства) и определения публичной сферы, в своих истоках связанной со средним классом. Наиболее распространенный способ сохранения подчиненных культур состоял в подчеркивании связей между субъективными и объективными сторонами популярных практик. Культура рабочего класса считалась подлинным выражением пролетарских условий, возможно, единственным возможным выражением. Эта связь или идентичность иногда подкреплялась «старыми марксистскими» представлениями о соответствующем состоянии сознания рабочего класса. Схожие допущения содержатся и в некоторых феминистских работах о культуре, которые описывают и превозносят особый культурный мир женщин, отражающий их положение. Термином, обычно указывающим на такие теоретические рамки, служит «опыт» со свойственным ему сплавом объективных и субъективных аспектов.

Такие рамки создают серьезные трудности, не в последнюю очередь для самих исследователей. Вторичный анализ и репрезентация всегда оказываются проблематичными, когда «стихийные» культурные формы представляются законченной или необходимой формой социального знания. Единственной легитимной практикой в этих рамках служит репрезентация самого неопосредованного подлинного жизненного опыта на «его собственном» языке. Эта форма культурного эмпиризма пронизывает большинство важных практик культурных исследований и служит одной из причин того, почему от нее труднее всего отказаться.

Также существует систематическая склонность к репрезентации живых культур, прежде всего, с точки зрения их гомогенности и обособленности. Эта теоретическая склонность, проявляющаяся в понятиях, вроде «целостного образа жизни», становится наиболее очевидной, когда речь заходит о проблемах национализма и расизма. Так, имеет место неприятная близость между «радикальными», но романтическими версиями «культуры рабочего класса» и представлениями об общей английскости или белой этничности. Здесь также встречается термин «образ жизни», используемый так, как если бы «культуры» были большими пластами значения, постоянно довлеющими над одними и теми же людьми. В левой этнографии этот

термин часто ассоциируется с недостаточной репрезентацией неклассовых отношений и фрагментированностью в социальных классах<sup>55</sup>.

Основной недостаток «выразительных» теорий состоит в рассмотрении средств означивания как особой культурной детерминанты. Трудно найти лучший пример разрыва между формальным анализом и «конкретными исследованиями», чем редкость лингвистического анализа в исторической и этнографической работе. Подобно большинству структуралистских исследований, этнографии часто работают с ограниченной версией описанного нами цикла, только в этом случае обычно оставляется без внимания весь спектр «публичных» форм. Акцент делается на созидательности частных форм, непрерывной культурной производительности повседневной жизни, но не на ее зависимости от материалов и способов публичного производства. В методологическом отношении не производится абстрагирования, вследствие чего отдельные (или отделимые) элементы живых культур остаются нераскрытыми, а их реальная сложность (а не их сущностное единство) — непризнанной.

#### ЛУЧШАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Я не хочу сказать, что эта форма культурного исследования внутренне порочна. Напротив, я склонен считать ее привилегированной формой анализа и в интеллектуальном, и в политическом отношении. Возможно, это станет понятнее, если вкратце рассмотреть некоторые аспекты лучших этнографических исследований в Бирмингеме<sup>56</sup>.

Эти исследования использовали абстракцию и формальное описание для выделения ключевых элементов в живом культурном ансамбле. Культуры прочитывались «текстуально». Но они также рассматривались вместе с реконструкци-

55. Некоторые работы ЦСКИ не лишены этого недостатка. Эта критика применима, например к «Сопроотивлению с помощью ритуалов», особенно в части теоретических представлений.

56. Последующее изложение основывается на работах Пола Уиллиса, Анжелы Макробби, Дика Хебдиджа, Кристин Гриффин и Дороти Хобсон, а также на этнографических исследованиях других сотрудников центра. См. особ.: *Willis P. Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs*. NY: Columbia University Press, 1981; *Idem. Profane Culture*. London; Boston: Routledge and Kegan Paul, 1978; *McRobbie A. Ibid.*; *Hobson D. Housewives: Isolation as Oppression // Women Take Issue*; *Hebdige D. Subculture: The Meaning of Style*. London: Routledge, 1979; *Griffin C. CCCS Stencilled Papers*. No. 69–70. Нечастое рассмотрение метода в этой области см.: *Willis P. Notes on Method // Culture, Media, Language*. P. 88–95.

ей социального положения пользователей. Здесь есть большая разница между «структурной этнографией» и более этнометодологическим подходом, интересующимся исключительно уровнем значения, причем обычно в индивидуалистических рамках. Например, это одна из причин того, почему феминистская работа в Центре во многом была связана с теоретизацией позиции женщин как «разговора с девочками». Мы пытались соединить культурный анализ с (иногда слишком общей) структурной социологией, сосредоточенной на гендере, классе и расе.

Возможно, наиболее важной чертой служили связи, установленные между живыми культурными ансамблями и публичными формами. Как правило, исследования касались освоения элементов массовой культуры и их трансформации в соответствии с нуждами и культурными логиками социальных групп. Исследования вклада форм массовой культуры (популярной музыки, моды, наркотиков или мотоциклов) в субкультурные стили, использование девушками культурных форм и сопротивление парней знанию и авторитету школы служат наиболее показательными примерами. Иными словами, лучшие исследования живой культуры также неизбежно являются исследованиями «прочтения». С этой точки зрения — пересечения публичных и частных форм — нам проще ответить на два ключевых вопроса, к которым культурные исследования — и не без оснований — постоянно возвращаются.

Первый вопрос связан с «популярностью», удовольствием и *потребительной стоимостью* культурных форм. Почему некоторые субъективные формы обретают популярность, становятся жизненными принципами? Каковы *различные* способы, которыми обживаются субъективные формы — игрово или мертвецки серьезно, в фантазии или по рациональному согласию?

Второй вопрос связан с *результатами* культурных форм. Насколько такие формы тяготеют к воспроизводству существующих форм подчинения или притеснения? Поддерживают ли они или сдерживают социальные амбиции, определяя потребности чересчур умеренно? Или это формы, которые позволяют ставить под вопрос существующие отношения или выходить за их пределы с точки зрения желания? Делают ли они акцент на альтернативных социальных мерах? На эти вопросы нельзя ответить, опираясь на анализ условий производства или одни лишь тексты; лучше всего это можно сделать, рассмотрев социальную форму во всех ее преобразованиях и попытавшись поместить ее в контекст отношений гегемонии в обществе.

БУДУЩИЕ ФОРМЫ  
КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:  
направления

Моя идея состояла в том, что существует три основные модели культурных исследований: исследования производства, исследования текста и исследования живых культур. Это разделение соответствует основным видам культурного обращения, но также препятствует развитию нашего понимания в важных отношениях. Каждый подход выглядит вполне разумным в том, что касается моментов, которые находятся в его «ведении», но ни один из них не подходит для объяснения целого (в этом случае они даже выглядят «идеологизированными»). Тем не менее каждый подход предполагает свое особое представление о политике культуры. Исследования производства предполагают борьбу за контроль или преобразование наиболее влиятельных средств культурного производства или выделение альтернативных средств, при помощи которых может проводиться контргегемонистская стратегия. Такие дискурсы обычно обращаются к институциональным реформаторам или радикальным политическим партиям. Исследования текстов, сосредоточенные на формах культурных продуктов, обычно касаются возможностей трансформационной культурной практики. Чаще всего они обращаются к различным представителям авангарда, критикам и учителям. В особенности эти подходы обращаются к профессиональным преподавателям колледжей и школ, потому что знания, подходящие для радикальной практики, приводились — не без сложностей — к знанию, подходящему для критических читателей. Наконец, исследования живой культуры тесно связаны с политикой «репрезентации», поддерживающей образы жизни подчиненных социальных групп и критикующих господствующие публичные формы в свете скрытой мудрости. Такая работа может даже способствовать приданию гегемонистского или некорпоративного поворота культурам, которые обычно приватизируются, стигматизируются или замалчиваются.

Важно подчеркнуть, что никто не рассматривал цикл производства и обращения в качестве адекватного объяснения культурных процессов или даже элементарных форм. Он не представлен в виде абстракций, на фоне которых можно было оценить каждый частичный подход. Так что простое соединение этих трех подходов с использованием каждого из них применительно к своему «моменту», нельзя признать подходящей стратегией на будущее. Появление такой стратегии невозможно без преобразования каждого из подходов и, возможно, нашего по-

нимания моментов. С одной стороны, между подходами есть немало реальных теоретических несовместимостей; с другой — амбиции многих проектов уже достаточно велики. Чтобы избежать упрощений, важно признать, что каждый аспект живет своей собственной жизнью, но что, возможно, полезнее переосмыслить каждый момент в свете других, прикладывая объекты и методы исследования, обычно использовавшиеся для одного момента, к другому. Моменты, хотя и поддаются выделению, на самом деле не дискретны, поэтому нам необходимо отслеживать то, что Маркс называл «внутренними связями» и «реальными идентичностями» между ними.

Тем, кто занимается исследованиями производства, необходимо более пристально рассматривать, к примеру, определенные культурные условия производства. Сюда относятся более формальные семиологические вопросы кодов и конвенций, на которые опирается, скажем, телевизионная программа, и способы, которыми она перерабатывает их. Сюда относится также более широкий дискурсивный материал — идеологические темы и проблематика, — принадлежащий к более широкой социальной и политической конъюнктуре. Но уже в момент производства мы ожидаем обнаружить более или менее тесные отношения с живой культурой определенных социальных групп, пусть даже только производителей. Здесь также использовались бы и трансформировались бы дискурсивные и идеологические элементы. Затем «уже» в исследовании момента производства мы можем ожидать других аспектов более широкого процесса и подготовки основы для более подходящего объяснения. Точно так же необходимо разработать формы исследования текста в сочетании с перспективой производства и прочтения. Вполне возможно, что наиболее важные изменения произойдут именно в итальянском контексте, где столь сильна семиологическая и литературоведческая традиция. Можно искать признаки производственного процесса в тексте: это полезный способ трансформации крайне непродуктивной озабоченности «пристрастностью», все еще доминирующей в обсуждении «излагающих факты» СМИ. Также можно прочитывать тексты как формы репрезентации, при условии осознания того, что мы всегда анализируем репрезентацию репрезентации. Первый объект, который репрезентирован в тексте, — это не объективное событие или факт; ему уже придано значение в какой-то другой социальной практике. Таким образом, можно рассматривать отношения, если таковые вообще имеются, между характерными кодами и конвенциями социальной группы и формами, в которых они репрезентируются в мыльной опере или комедии. Это не просто

академическое упражнение, поскольку наличие такого описания позволяет определить значимость текста для той или иной группы. Речь не идет об отказе от существующих форм анализа текстов, но они должны быть адаптированы к исследованию действительных читателей (а не заменены им). Здесь, по-видимому, есть два основных условия. Во-первых, формальное прочтение текста должно быть как можно более открытым или многослойным и, конечно, заниматься выделением предпочтительных позиций или рамок, но также и альтернативных прочтений и подчиненных рамок, даже если они могут быть представлены только в виде фрагментов или противоречий в господствующих формах. Во-вторых, аналитикам необходимо раз и навсегда отказаться от двух основных моделей критического прочтения: прежде всего, оценочного прочтения (хорош или плох этот текст?) и стремления к анализу текста как «объективной науке». Проблема обеих моделей состоит в том, что, дерелятивизируя наши акты прочтения, они отходят от осознанного рассмотрения (но не как активного присутствия) нашего обыденного знания более широких культурных контекстов и возможных прочтений. Я уже отмечал имеющиеся здесь трудности, но мне бы хотелось также отметить незаметность этого ресурса. Трудности разрешаются, хотя и не преодолеваются полностью, лучше всего, когда «аналитиком» является группа. Многие наиболее полезные для меня моменты в культурных исследованиях были связаны с внутригрупповым обсуждением прочтения текстов, например, связанных гендерным опытом. Это не означает отрицания реальной дисциплины «пристального» прочтения в смысле *внимательного*, а не *близорукого*.

Наконец, те, кто занимается «конкретным» культурным описанием, не могут игнорировать существование схожих с текстами структур и особых форм дискурсивной организации. В частности, нам необходимо знать, что отличает частные культурные формы в их основных формах организации от публичных форм. Так, мы можем выделять, например, лингвистически различное отношение социальных групп к различным формам СМИ и реальным процессам прочтения.

Конечно, преобразование одних подходов скажется на других. Если лингвистический анализ, например, рассмотрит исторические детерминации или предложит нам способы анализа действия власти, то разделение между языковыми исследованиями и конкретными объяснениями исчезнет. Это также относится к соответствующей политике. В настоящее время многие области глубоко пронизаны разногласиями и непониманием в отношениях между *авангардистскими* теоретиками

и практиками искусства и теми, кого интересует более низовое изучение искусства сообщества, письма рабочих, женского письма и так далее. Точно также трудно передать, насколько механической, насколько невнимательной к культурным измерениям остается политика большинства левых фракций. Если я прав, что теории связаны с мировоззрениями, то речь идет не просто о развитии теории, а о чем-то, что также имеет отношение к условиям создания действенных политических альянсов.

*Перевод с английского Артема Смирнова*